Аркадий и Борис

СТРУГАЦКИЕ

ОТЯГОЩЕННЫЕ ЗЛОМ

ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ

РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Аркадий и Борис Стругацкие

Отягощенные злом (сборник)

«Наследник Стругацких»

1988

Стругацкие А.

Отягощенные злом (сборник) / А. Стругацкие — «Наследник Стругацких», 1988

ISBN 5-699-18218-7

В очередной том собрания сочинений классиков отечественной и мировой фантастики братьев Стругацких вошли знаменитые романы «Гадкие лебеди» и «Отягощенные злом», а также другие произведения, созданные ими в восьмидесятые годы.

ISBN 5-699-18218-7

© Стругацкие А., 1988
© Наследник Стругацких, 1988

Содержание

Отягощенные злом, или Сорок лет спустя 5
Необходимые пояснения 5
Дневник. 10 июля (ночь на 11-е) 8
Рукопись «03» (1–3) 10
Дневник. 12 июля 18
Рукопись «03» (4) 22
Дневник. 14 июля 29
Рукопись «03» (5–9) 32
Дневник. 16 июля 38
17 июля. 5 часов утра 44
17 июля. Вечер 46
Рукопись «03» (10–14) 49
Дневник. 18 июля 58
18 июля. Вечер 59
Рукопись «03» (15–18) 64
Дневник. 19 июля (утро) 70
19 июля. 20 часов 30 минут 71
Рукопись «03» (19–22) 76
Дневник. Уже 20 июля. Ночь, 1.30 85
20 июля. 11 утра 87
Рукопись «03» (23–25) 90
Конец ознакомительного фрагмента. 99
Комментарии

Аркадий и Борис Стругацкие

Отягощенные злом, или Сорок лет спустя

Из десяти девять не знают отличия тьмы от света, истины от лжи, чести от бесчестья, свободы от рабства. Также не знают и пользы своей.
Трифилий, раскольник[1]

Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх.
Евангелие от Иоанна[2]

Необходимые пояснения

[3]

Две рукописи лежали передо мной, когда я принял окончательное решение писать эту книгу.

Решение мое само по себе никаких объяснений не требует. Сейчас, когда имя Георгия Анатольевича Носова всплыло из небытия, и даже не всплыло, а словно бы взорвалось вдруг, сделавшись в одночасье едва ли не первым в списке носителей идей нашего века; когда вокруг этого имени пошли наворачивать небылицы люди, никогда не говорившие с Учителем и даже никогда не видевшие его; когда некоторые из его учеников принялись суетливо и небескорыстно сооружать некий новейший миф вместо того, чтобы просто рассказать то, что было на самом деле, – сейчас полезность и своевременность моего решения представляются очевидными.

Иное дело – рукописи, составляющие книгу. Они, на мой взгляд, без всякого сомнения требуют определенных пояснений.

Происхождение первой рукописи вполне банально. Это мои заметки, черновики, наброски, кое-какие цитаты, записки, главным образом дневникового характера, для отчет-экзамена по теме «Учитель двадцать первого века». В связи с событиями того страшного лета отчет-экзамен мой так никогда и не был написан и сдан. Конечно, можно только поражаться самонадеянности того восторженного юнца, зеленого выпускника Ташлинского лицея, вообразившего себе, будто он способен вычленить и сформулировать основные принципы работы своего учителя, состыковать их с существующей теорией воспитания и создать таким образом совершенный портрет идеального педагога. Помнится, Георгий Анатольевич отнесся к моему замыслу с определенной долей скептицизма, однако отговаривать меня не стал и, более того, разрешил мне сопровождать его во всех его деловых хождениях, в том числе и за кулисы тогдашней ташлинской жизни.

И самонадеянный юнец ходил за своим учителем, иногда в компании с другими лицеистами (которых учитель отбирал по каким-то одному ему понятным соображениям), иногда же сопровождал учителя один. Он внимательно слушал, запоминал, записывал, делал для себя какие-то выводы, которых я теперь, к сожалению, уже не помню, пламенел какими-то чувствами, которые теперь тоже основательно подзабылись, а вечерами, вернувшись в лицей, с упорством и трудолюбием Нестора заносил на бумагу все, что наиболее поразило его и показалось наиболее важным для будущей работы.

Я основательно отредактировал эти записи. Кое-что мне пришлось расшифровать и переписать заново. Многое там было застенографировано, зашифровано кодом, который я теперь, конечно же, забыл. Некоторые места вообще оказалось невозможно прочесть. Разумеется, я полностью опустил целые страницы, носящие дневниково-интимный характер, страницы, касающиеся других людей и не касающиеся Георгия Анатольевича.

Теперь, когда я закончил книгу и не намерен более изменять в ней хоть слово, мне бывает грустно при мысли, что я, несомненно, засушил и обескровил забавного, трогательного, иногда жалкого юнца, явственно выглядывавшего ранее из-за строчек со своими мучительными возрастными проблемами, со своим гонором, удивительно сочетавшимся у него с робостью, со своими фантасмагорическими планами, великой жертвенностью и простодушным эгоизмом. В процессе работы я все это элиминировал беспощадно, ибо считал – и считал совершенно справедливо, – что незачем мне выпячивать себя в трагедии моего учителя. Все-таки книга эта прежде всего о нем и только потом уже – обо мне.

Это о первой рукописи.

Происхождение второй рукописи загадочно – столь же загадочно, как и ее содержание. Георгий Анатольевич вручил мне ее вскоре после того, как определилась тема моего отчет-экзамена. Он сказал, что эта рукопись может оказаться полезной для моей работы, во всяком случае, она способна вывести меня из плоскости обыденных размышлений. Этих слов его я тогда не понял, не понимаю я их и сейчас. Видимо, не так-то просто вывести меня из плоскости обыденных размышлений.

Помнится, Георгий Анатольевич рассказал мне, что рукопись эта была несколько лет назад обнаружена при сносе старого здания гостиницы-общежития Степной обсерватории, старейшего научного учреждения нашего региона. Рукопись содержалась в старинной картонной папке для бумаг, завернутой в старинный же полиэтиленовый мешок, схваченный наперекрест двумя тонкими черными резинками. Ни имени автора, ни названия на папке не значилось, были только две большие буквы синими чернилами: О и З.

Первое время я думал, что это цифры «ноль» и «три», и только много лет спустя сообразил сопоставить эти буквы с эпиграфом на внутренней стороне клапана папки: «…у гностиков ДЕМИУРГ – творческое начало, производящее материю, отягощенную злом» [4]. И тогда показалось мне, что «ОЗ» – это, скорее всего, аббревиатура: Отягощение Злом или Отягощенные Злом, – так свою рукопись назвал неведомый автор. (С тем же успехом, впрочем, можно допустить и то, что ОЗ – не буквы, а все-таки цифры. Тогда рукопись называется «ноль – три», а это телефон «Скорой помощи», – и странное название вдруг обретает особый и даже зловещий смысл.)

Формально автором следует считать Сергея Корнеевича Манохина, от имени которого и ведется повествование. С. К. Манохин – личность вполне историческая, астроном, доктор физмат-наук, он действительно в конце прошлого века был сотрудником Степной обсерватории, причем довольно долгое время. Более того, понятие «звездных кладбищ», упоминаемое в рукописи, было на самом деле введено им. Он предсказал это редкое и своеобразное явление природы, и, насколько я понял, еще при его жизни оно было обнаружено в наблюдениях. Больше никаких заметных следов в науке он не оставил, во всяком случае, никаких данных подобного рода мне найти не удалось. И уж совсем никаких данных не удалось мне обнаружить о том, что С. К. Манохин когда-либо баловался художественной литературой. Так что вопрос об авторстве «Отягощения Злом» и сейчас остается для меня открытым.

Читатель должен иметь в виду, что в рукописи «ОЗ» элементы гротесковой фантастики затейливо переплетены с совершенно реальными людьми и обстоятельствами. Ни у кого не вызовет сомнения, скажем, что Демиург – фигура совершенно фантастическая (наподобие булгаковского Воланда[5]), но при этом упоминаемый в рукописи Карл Гаврилович Росляков действительно был директором Степной обсерватории, самым первым и самым знаменитым. Что

же касается удивительной фигуры Агасфера Лукича, то этого человека я просто видел собственными глазами, причем при обстоятельствах трагических и незабываемых.

Проще всего было бы предположить, что автором рукописи «ОЗ» является сам Георгий Анатольевич. Однако принять это предположение не позволяет мне целый ряд обстоятельств.

Бумага, папка, технология машинописи, орфографические особенности текста – все это совершенно однозначно заставляет датировать рукопись восьмидесятыми годами прошлого века. В крайнем случае – девяностыми годами. То есть получается, что Георгию Анатольевичу, если бы это сочинение писал он, было тогда меньше лет, нежели мне, когда я его читал. Дьявольски маловероятно.

Далее, такая мистификация противоречила бы всему, что я знаю о Георгии Анатольевиче, – никак не укладывается она ни в его характер, ни в его отношение к своим ученикам.

Наконец, само содержание рукописи, выбранный автором герой. Зачем Георгию Анатольевичу понадобилось бы делать своим лирическим героем астронома? Георгий Анатольевич никогда не интересовался естественными науками. Разумеется, он был в курсе новейших представлений физики и той же астрономии, но не более, чем просто культурный, образованный человек. И уж совсем непонятно, зачем ему, при его деликатности, было брать героем астронома, реально существовавшего, да еще работавшего здесь же, в двух шагах от Ташлинска.

Нет, гипотеза эта при всем ее кажущемся правдоподобии не может быть принята за окончательную. А ведь я еще ничего не сказал (и говорить сейчас не намерен) о тех элементах сочинения, которые не объясняются вообще никакими рациональными гипотезами.

Боюсь, все дело в том, что я так и не сумел понять, какую же связь Георгий Анатольевич усматривал между моим отчет-экзаменом и рукописью «ОЗ», на какие именно мысли должна была вывести меня эта рукопись. Вполне допускаю, что, если бы мне удалось нащупать эту связь, если бы удалось мне выйти из плоскости неких представлений, я бы понял больше и в самой рукописи, и в загадке ее происхождения.

Может быть, кто-нибудь из читателей окажется удачливее и, прямо скажем, сообразительнее автора этой книги. Я же в заключение замечу только, что рукопись «ОЗ» помещена мною в книге без каких-либо исправлений и пропусков. Я позволил себе лишь разбить ее на части в примерном соответствии с тем, как сам читал ее в то страшное лето (урывками, по ночам).

Игорь В. Мытарин

Дневник. 10 июля (ночь на 11-е)

Только что вернулся из патруля. Левое ухо распухло, как оладья. А было так.

Мы уже попрощались. Иван с Сережкой пошли своей дорогой, а я – своей. И тут у ворот в Парк космонавтов я вижу, как трое «дикобразов» прижали своими мотоциклами двух парнишек, явных фловеров, к запертым воротам и, очевидно, намереваются учинить над ними какое-то хулиганское действие. Я по всем правилам науки издал воинственный клич матмеха и выступил на защиту Флоры, как будто она уже занесена в Красную книгу. Я и глазом моргнуть не успел, как «дикобразы» накидали мне по ушам. Говоря серьезно, все могло бы кончиться вовсе не забавно, если бы не подоспели Ванька с Серегой, услышавшие беспорядок за два квартала. «Дикобразы» моментально оседлали свою технику и были таковы. Но что характерно! Фловеры, за которых я пролил свою благородную кровь, оказались таковы в тот же миг, когда «дикобразы» обратили свое внимание от них на меня. Дерьмо.

А во время патрулирования мы говорили главным образом о «неедяках». Не помню, кто начал этот разговор и почему. Я рассказал ребятам, откуда появилось это слово – они представления об этом не имели.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Слово «неедяка» придумал и использовал в одном из своих рассказов писатель середины прошлого века Илья Варшавский[6]. У него «неедяки» – всем довольные жители иной планеты, прогресс коей начался только после того, как пришельцы-земляне напустили на них блох.)

Ваня Дроздов относится к нашим «неедякам» чрезвычайно просто. Для него они делятся на два типа. Первый – люмпены, бродяги, тунеядцы вонючие, хламидомонады, Флора сорная, бесполезная. Второй – философы неумытые, доморощенные, блудословы, диогены бочкотарные, неумехи безрукие, безмозглые и бездарные. Один тип другого стоит, и хорошо было бы первых пропереть с глаз долой куда-нибудь на болота (пусть там хоть медицинских пиявок кормят, что ли), а вторым дать в руки лопаты, чтобы рыли судоходный канал от нашей Ташлицы до Арала. Иван, будучи мастером-брынзоделом, чрезвычайно суров к людям, не имеющим профессии и не желающим ее иметь.

Впрочем, бескомпромиссное отношение его к «неедякам» носит характер скорее теоретический. У Сережки невеста из семьи «неедяков», и Иван на весь город объявляет с упреком: «Танькин папан? Что ты мне про него болбочешь? Он же человек! А я про нищедухов тебе!» Тогда я рассказываю ему про дядю друга моего Мишеля. И снова: «Слушай, это же совсем другой обрат! Разве я тебе о таких толкую? У него же талант!»

Смех смехом, а в результате всего этого трепа у меня сформулировалась довольно любопытная классификация нынешних «неедяк».

Класс А. «Элита». Доморощенные философы, неудавшиеся художники, графоманы всех мастей, непризнанные изобретатели и так далее. Инвалиды творческого труда. Упорство, чтобы творить, есть. Таланта, чтобы творить, нет, и на этом они сломались. Между прочим, Мишкин дядя тоже, конечно, элита, но совсем в ином роде. Г. А. называет таких людей резонаторами и утверждает, что они – большая редкость. Некий странный взбрык развития цивилизации. Действительно, поскольку цивилизация порождает такое явление, как поэзия, должны, видимо, возникать индивидуумы, приспособленные ТОЛЬКО к тому, чтобы потреблять эту поэзию. Они не способны производить ни материальные, ни духовные блага, они способны только потреблять духовное и резонировать. И вот это их резонирование оказывается чрезвычайно важным для творца, важнейшим элементом обратной связи для того, кто порождает духовное. (Странно, что дегустаторы чая, вина, кофе, сыра – уважаемые профессионалы, а дегустатор, скажем, живописи – не критик, не искусствовед, не болтун по поводу, а именно

природный, интуитивный дегустатор – считается у нас тунеядцем. Впрочем, ничего странного здесь нет.)

Класс Б. Назовем их «воспитатели». Всю свою жизнь и все свое время они посвящают воспитанию своих детей и совершенствованию своей семьи вообще. Они почти не участвуют в процессе общественного производства, они замкнуты на свою ячейку, они отдельны. Это раздражает. В том числе и меня. Однако я понимаю осторожность Г. А., когда он отказывается дать однозначную оценку этому явлению. Рискованный эксперимент, говорит он. Если бы это зависело только от меня, я бы, наверное, не разрешил его, говорит он. А теперь нам остается лишь ждать, что из этого получится, говорит он. Очевидно, что получиться может все, что угодно. Пока известны дети «неедяк-воспитателей» и вполне удачные, и не совсем чтобы очень.

Класс В. «Отшельники». Желающие слиться с природой. Руссо, Торо, все такое. «Жизнь в лесу»[7]. В этих людях нет ничего нового, они всегда были, просто сейчас их стало особенно много. Наверное потому, что туристическое оборудование сделалось дешево и общедоступно, в особенности списанное военно-походное снаряжение. Да и консервы для домашних животных распространились и стоят гроши.

И, наконец, класс Г. ~~Г – оно и есть Г.~~ (Зачеркнуто.) Люмпены. Флора. Полное отсутствие видимых талантов, полное равнодушие ко всему. Лень. Безволие. Максимум социальной энтропии. Дно.

Не знаю, куда отнести «дикобразов» с их мотоциклами и садизмом, а также «птеродактилей» с ихними дельтапланами и садизмом же. Какая-то разновидность технизированной Флоры. Полунеедяки, полууголовники.

Получившаяся классификация, я надеюсь, содержательна. Бурлящий энтузиазмом изобретатель вечного двигателя и полурастительный фловер, который от лени готов ходить под себя, – что общего между ними? Отвечаю: чрезвычайно низкие личные потребности. Уровень потребностей у всех «неедяк» настолько низок, что выводит их всех за пределы цивилизации, ибо они не участвуют во всеобщем процессе культивирования, удовлетворения и изобретения потребностей. Чеканная формулировка. Надо будет рассказать Г. А.

Кстати, нынче утром Г. А. вручил мне довольно солидную, музейного вида папку и сказал, что рекомендует ее мне как некую литературу к моему отчет-экзамену. Сто двадцать четыре нумерованные страницы. На обложке цифры: ноль-три. А может быть, буквы – О и З. Судя по всему, чей-то дневник. Какого-нибудь древлянина. Читать нет ни малейшего желания, но, вручая, Г. А. был настолько многозначителен и настойчив, что читать придется. Буду читать каждый вечер перед сном. Страниц по десять.

Ну какое отношение к моему отчет-экзамену могут иметь такие строки: «Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью – дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой…»?

Ухо болит. Возьми велосипедную цепь. Туго обмотай изолентой в десять-пятнадцать слоев. Образовавшийся предмет хватай за любой конец, а другим бей. По уху.

«We must find a way… to make indifferent and lazy young people sincerely eager and curious – even with chemical stimulants if there is no better way»[8].

По сути, это вопль отчаяния. Но как тут не завопить? Ведь, по сути, мы обязаны чуть ли не любой ценой создать человека с заданными свойствами. У Шкловского почти об этом сказано: «…если бы некто захотел создать условия для появления на Руси Пушкина, ему вряд ли пришло бы в голову выписывать дедушку из Африки»[9].

Рукопись «03» (1–3)

1. Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью – дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой. Странноват он был и, возможно, даже уникален вычурной своей и неудобоописуемой архитектурой. Был он целиком красного кирпича и тянулся вдоль Балканской улицы более чем на два квартала. Крыша была плоская, словно бы предназначенная для посадки воздушных кораблей будущего, фасад изукрашен провалами и изгибами сложной формы, прямоугольные тоннели висели над высоченными арками, – и для каких же, интересно, целей разрезали фасад узкие, до пятого этажа ниши? Неужто для неимоверно длинных и тощих статуй неких героев или страдальцев прошлого? И зачем понадобилось архитектору воздвигнуть на торцах удивительного дома совершенно крепостные башни, полукруглые и разной высоты?

Леса давно были уже разобраны и увезены, и стекла окон были вымыты и прозрачны, и новенькие двери в подъездах не вызывали никаких нареканий, и чисты были каменные ступени, ведущие к ним, – но все пространство от этих ступеней и до асфальта мостовой представляло собою сплошную грязь вперемешку со строительным мусором. Там можно было увидеть мокрые, частью измочаленные доски со страшными торчащими гвоздями и битые кирпичи, и треснувшие шлакоблоки со ржавой арматурой, и завитые неведомой силою в спирали водопроводные трубы, и забытые всеми секции батарей парового отопления, и какие-то расплющенные ведра, а между одиннадцатым и двенадцатым подъездами пребывал, накренившись, некий гусеничный механизм, и мокрый ветер хлопал его полуоткрытой дверцей.

Дом был сдан под ключ, но жильцов в доме не было и в помине. Пусто было на лестничных пролетах, пусто, темно и тихо, и пахло краской и нежильем, и мертво стыли коробки лифтов, поднятые к самой крыше. Все двери всех подъездов казались плотно и надежно запертыми, да так оно, наверное, и было на самом деле, однако в дом войти было можно. В него входили. И, наверное, выходили тоже. Во всяком случае, на каменных ступеньках тринадцатого подъезда, ведущего в южную торцовую башню, обнаруживались грязные следы. На длинной крашеной ручке парадной двери криминалист без труда обнаружил бы отпечатки пальцев. Пыль на цементном полу вестибюля кое-где свернулась во множественные шарики, как будто некто, войдя с улицы, энергично отряхнул здесь свою промокшую под дождем шляпу.

И кто-то забыл, или бросил за ненадобностью, или потерял в панике ветхий полураскрытый чемоданчик на лестничной площадке четвертого этажа, и высовывалось из чемоданчика вафельное полотенце сомнительной свежести. А на площадке восьмого этажа, в углу, у двери в квартиру номер пятьсот шестнадцать отсвечивали тускло две стреляные гильзы – то ли опять же потерянные здесь кем-то, а скорее всего лежащие там, куда выбросило их отсечкой-отражателем. При этом дверь квартиры пятьсот шестнадцать, как и всех почти квартир этого дома, была плотно заперта и не открывалась с тех пор, как покинул эти места бригадир бригады отделочников. Или, скажем, бригадир бригады сантехников.

Открыта же была в этом доме одна-единственная квартира – почему-то без номера, а если считать по логике расположения, то квартира номер пятьсот двадцать семь, – трехкомнатная, по замыслу, квартира на двенадцатом, последнем, этаже южной торцовой башни.

В одной из комнат этой квартиры окно выходило на проспект Труда. Сама комната была оклеена дешевенькими, без претензий, обоями, торчали из середины потолка скрученные электропровода, паркетный пол, хотя и довольно гладкий, все-таки нуждался в циклевке, а в дальнем от окна углу стоял забытый строителями деревянный топчан, густо заляпанный известкой и масляной краской.

В этой комнате разговаривали. Двое.

Один стоял у окна и смотрел вниз, на грязевые пространства под серым моросящим небом. Он был огромного роста, и была на нем черная хламида, совершенно скрывавшая его телосложение. Нижний край ее свободно располагался на полу, а в плечах она круто задиралась вверх и в стороны наподобие кавказской бурки, но так энергично и круто, с таким сумрачным вызовом, что уже не о бурке думалось, – не бывает на свете таких бурок! – а о мощных крыльях, скрытых под черной материей. Впрочем, никаких крыльев, конечно, там у него не могло быть, да, наверное, и не было, просто такая одежда необычайного и непривычного фасона. И не была эта одежда более странна и непривычна, чем сам ее материал с чудящимися на нем муаровыми тенями: ни единой складки не угадывалось на поразительной хламиде, ни единой морщины, так что казалось временами, будто и не одежда это никакая, а мрачное место в пространстве, где ничего нет, даже света.

А на голове стоящего у окна был, несомненно, парик, белый, может быть, даже пудреный, с короткой, едва до плеч косицей, туго заплетенной черным шнурком.

– Какая тоска! – произнес он словно бы сквозь стиснутые зубы. – Смотришь – и кажется, что все здесь переменилось, а ведь на самом деле – все осталось как и прежде…

Его собеседник отозвался не сразу. Видимо, совсем не боясь испачкаться, он сидел на топчане, скрестив короткие, не достающие до пола ножки, и быстро проглядывал пухлый растрепанный блокнот, то и дело подхватывая и водворяя на место выпадающие странички. Маленький, толстенький, грязноватый человечек неопределенного возраста, в сереньком обтерханном костюмчике: брюки дудочками, спустившиеся носки, тоже серые, и серые же от долгого употребления штиблеты, никогда не знавшие ни щетки, ни гуталина, ни суконки. И серенький скрученный галстук с узлом, как говорят англичане, под правым ухом.

Человечку этому было, наверное, жарко, пухлое лицо его было красно и покрыто мелкими бисеринками пота, влажные белесые волосенки прилипли к черепу, сквозь них просвечивало розовое. Шляпу свою и пальтишко человечек снял, и они неопрятной, насквозь мокрой кучей валялись в уголке вместе с разбухшим обшарпанным портфелем времен первого нэпа. Совершенно обыкновенный человечек, не чета тому, что черной глыбой возвышался перед окном.

– Зато как ВЫ изменились, Гончар! – откликнулся он, наконец. – Положительно, вас невозможно узнать! Да вас и не узнает никто…

Тот, что стоял у окна, хмыкнул. Дрогнула косичка. Колыхнулись крылья черной хламиды.

– Я говорю не об этом, – сказал он. – Вы не понимаете.

Серый человечек словно бы не слышал его. Он все листал да перелистывал свой блокнот. Необыкновенный был этот его блокнот: то один, то другой листочек вдруг озарялся изнутри ясным красным светом, а иногда даже схватывался по краям явственным огненным бордюрчиком, и даже дымок как будто взвивался, а потом фокусы эти мгновенно прекращались, и наступало облегчение, что и на этот раз толстые грязноватые пальцы серого человечка остались целы.

– Вы и не можете понять, – продолжал тот, что стоял у окна. – Все это время вы торчали здесь, и вам здесь все примелькалось… Я же смотрю свежим глазом. И я вижу: какие-то фундаментальные сущности остались неколебимы. Например, им по-прежнему неизвестно, для чего они существуют на свете. Как будто это тайна какая-то за семнадцатью замками!..

– За семью печатями, – поправил серый человечек рассеянно.

– Да. Конечно. За семью печатями… Вот, полюбуйтесь на них: прямиком, через грязь, цепляясь друг за друга, как больные… Да они же пьяны!

– О да, здесь это бывает, – произнес серый человечек, отвлекшись от своего занятия. Он заложил блокнот грязным пальцем и стал смотреть в спину стоявшего у окна, в гладкое черное пространство под косицей. – Последнее время меньше, но все-таки бывает. Вы привыкнете, Гефест, обещаю вам. Не капризничайте. Раньше вы не капризничали!

Тот, что стоял у окна, медленно повернул голову и глянул на серенького собеседника, и собеседник, как всегда, мгновенно вильнул глазами и, подавшись назад, набычился, словно в лицо ему пахнуло раскаленным жаром.

Ибо лик стоявшего у окна был таков, что привыкнуть к нему ни у кого не получалось. Он был аскетически худ, прорезан вдоль щек вертикальными морщинами, словно шрамами по сторонам узкого, как шрам, безгубого рта, искривленного то ли застарелым парезом, то ли жестоким страданием, а может быть, просто глубоким недовольством по поводу общего состояния дел. Еще хуже был цвет этого изможденного лика – зеленоватый, неживой, наводящий, впрочем, на мысль не о тлении, а скорее о яри-медянке, о неопрятных окислах на старой, давно не чищенной бронзе. И нос его, изуродованный какой-то кожной болезнью наподобие волчанки, походил на бракованную бронзовую отливку, кое-как приваренную к лику статуи.

Но всего страшнее были эти глаза под высоким безбровым лбом, огромные и выпуклые, как яблоки, блестящие, черные, испещренные по белкам кровавыми прожилками. Всегда, при всех обстоятельствах горели они одним и тем же выражением – яростного бешеного напора пополам с отвращением. Взгляд этих глаз действовал как жестокий удар, от которого наступает звенящая полуобморочная тишина.

– Это не каприз, – произнес тот, что стоял у окна. – Я и раньше ненавидел пьяных – всех этих пожирателей мухоморов, мака, конопли… Может быть, мне с этого и надо было все тогда начинать, но ведь не хватило бы никакого времени!.. А теперь, я вижу, уже поздно… Вы заметили: вчерашний клиент явился навеселе! Ко мне! Сюда!

– Да им же страшно! – сказал серенький человек с укоризной. – Попытайтесь же понять их, Ткач, они боятся вас!.. Даже я иногда боюсь вас…

– Хорошо, хорошо, мы уже говорили об этом… Все это я уже от вас слышал: человек разумный – это не всегда разумный человек… хомо сапиенс – это возможность думать, но не всегда способность думать… и так далее. Я не занимаюсь самоутешениями и вам не советую… Вот что: пусть у меня будет здесь помощник. Мне нужен помощник. Молодой, образованный, хорошо воспитанный человек. Мне нужен человек, который может встретить клиента, помочь ему одеть пальто…

– Надеть, – произнес серенький человек очень тихо, но стоявший у окна услышал его.

– Что?

– Надо говорить «надеть пальто».

– А я как сказал?

– Вы сказали «одеть».

– А надо?

– А надо – «надеть».

– Не ощущаю разницы, – высокомерно сказал тот, что стоял у окна.

– И тем не менее она существует.

– Хорошо. Тем более. Я же говорю: мне нужен образованный человек, в совершенстве знающий местный диалект.

– Нынешние молодые люди, Кузнец, плохо знают свой язык.

– И тем не менее мне нужен именно молодой человек. Мне будет неудобно командовать стариком, а я намерен именно командовать.

– Здесь никто ничего не делает даром, – намекнул серый человечек с циничесой усмешкой. – Ни старики, ни молодые. Ни воспитанные, ни хамы. Ни образованные, ни игнорамусы… Разве что какой-нибудь восторженный пьяница, да и тот будет все время в ожидании, что ему вот-вот поднесут. Из уважения.

– Ну что ж. Никто не заставит его работать даром… Как вы болтливы, однако. Есть у вас кто-нибудь на примете?

– Вам повезло, Хнум. Есть у меня на примете подходящая особь. Сорок лет, кандидат физико-математических наук, воспитан в такой мере, что даже умеет пользоваться ножом и вилкой, почти не пьет. А что же касается жизненного существа его, воображаемого отдельно от тела…

– Увольте! Увольте меня от ваших гешефтов! Скажите лучше, что он просит. Цена!

– Я в этом плохо разбираюсь, Ильмаринен. Гарантирую, впрочем, что просьба его вас позабавит. Другое дело – сумеете ли вы ее выполнить!

– Даже так?

– Именно так.

– И вы полагаете, что это лежит за пределами моих возможностей?

– А вы по-прежнему полагаете, будто можете все на свете?

Черно-кровавое яблоко глянуло на серенького поверх левого крыла, и человечек вновь отпрянул и потупился.

– Укороти свой поганый язык, раб!

Наступила зловещая тишина, и только через несколько долгих секунд неукрощенный серенький человек пробормотал:

– Ну зачем же так высокопарно, мой Птах? Зовите меня просто: Агасфер Лукич.

– Что еще за вздор, – с отвращением произнес стоявший у окна. – При чем здесь Агасфер?..

2. Действительно, при чем здесь Агасфер? Я специально смотрел: того звали Эспера-Диос (что означает «надейся на бога») и еще его звали Ботадеус (что означает «ударивший бога»). Это был какой-то древний склочный еврей, прославившийся в веках тем, что не позволил несчастному Иисусу из Назарета присесть и отдохнуть у своего порога, – у Агасферова порога, я имею в виду. За это бог, весьма щепетильный в вопросах этики, проклял его проклятьем бессмертия, причем в сочетании с проклятьем безостановочного бродяжничества. «Встань и иди!»

Так вот, начнем с того, что Агасфер Лукич никакой не еврей и даже не похож. Внешне он больше всего напоминает артиста Леонова (Евгения) в роли закоренелого холостяка, полностью лишенного женского ухода и пригляда, – в жизни не видел я таких засаленных пиджаков и таких заношенных сорочек. Далее, Агасфер Лукич, конечно, дьявольски непоседлив и подвижен (на то он и страховой агент, волка ноги кормят), однако спит он как все нормальные люди (плюс еще часок после обеда), и никакие мистические голоса не командуют ему, едва он заведет глаза: «Встань и иди!»

Я познакомился с ним в конце лета, когда, вернувшись с того злосчастного симпозиума в Ленинграде, обнаружил, что в номер ко мне подселили за время моего отсутствия некоего деятеля, совершенно постороннего и к обсерватории отношения не имеющего. Негодование мое, наложившееся на все те неприятности, которые я услышал в Ленинграде, выбило меня из обычной колеи до такой степени, что я унизился до скандала. Я накричал на дежурную, ни в чем, разумеется, не повинную. Я сцепился по телефону с Суслопариным, обвинил его в коррупции и швырнул на полуслове трубку. Я бы и Карла моего Гаврилыча не пощадил, конечно, уж я бы объяснил ему, что быть директором обсерватории означает в первую очередь обеспечивать комфортные условия жизни для наблюдателей, – да, по счастью, оказался он в то время в Москве, в Академии наук. Я со стыдом вспоминаю сейчас тогдашнее свое поведение. Но уж очень это достало меня тогда: вхожу в номер – в свой, законный, раз и навсегда за мною закрепленный, – и вижу на столе своем чьи-то безобразного вида носки, небрежно брошенные поверх моей рукописи…

Впрочем, как это часто случается в жизни, все оказалось вовсе не так уж страшно и беспросветно.

Агасфер Лукич проявил себя как человек чрезвычайно легкий и приятный в общении. Он был абсолютно безобиден, он ни на что не претендовал и со всем был согласен. Он тут же постирал свои носки. Он тут же угостил меня красной икрой из баночки. Он знал неимоверное количество безукоризненно свежих и притом смешных анекдотов. Его истории из жизни никогда не оказывались скучными. И он умудрялся совсем не занимать места. Он был – и в то же время как будто и отсутствовал, он появлялся в поле моего внимания только тогда, когда я был не прочь его заметить. Он был на подхвате, так бы я выразился. Он всегда был на подхвате.

Но при всем при том было в нем кое-что, мягко выражаясь, загадочное. Он-то сам очень стремился не оставлять по себе впечатления загадочного, и, как правило, это ему превосходно удавалось: комический серенький человечек, отменно обходительный и совершенно безобидный. Но нет-нет, а мелькало вдруг в нем или рядом с ним что-то неуловимо странное, настораживающее что-то, загадочное и даже, черт побери, пугающее. Например, эта поразительная его записная книжка… или манера класть на ночь свое искусственное ухо в какой-то алхимический сосуд… или другая манера – бормотать что-то неразборчивое в отключенный телефон… но это ладно, это потом. И я уже не говорю про портфель его!

Первое, что удивляло, это – за какие такие невероятные заслуги ничтожного страхового агента подселяют ко мне, к без пяти минут доктору, к человеку, прославившему эту обсерваторию… Да разве в науке здесь дело, – что нашему Суслопарину до науки? Ко мне, к личному другу директора, – подселяют серенького страх-агента! Милостивые государи мои! Наш заместитель по общим вопросам товарищ Суслопарин К. И. никогда и ничего не делает зря и ничего и никому не делает даром. Видимо, какую-то огромную, мало кому известную пользу можно, оказывается, извлечь из системы государственного страхования, и мы с вами, простые смертные, чего-то здесь недопонимаем, и недополучаем мы чего-то весьма значительного, опрометчиво проходя мимо заглядывающего нам в глаза скромного человека, жаждущего всучить нам договор из трех рублей в год… Загадка эта была сформулирована мною в первый же день знакомства с Агасфером Лукичом, но при прочих моих заботах и неприятностях того времени оставила меня в общем и целом равнодушным. Какое, в конце концов, мне дело до хитрых махинаций товарища Суслопарина?

Удивляло, конечно, почему он Агасфер. Хотелось все время спросить: при чем тут Агасфер? Что это за Лука такой нашелся, что назвал родного сына Агасфером? (Или, может, не родного все-таки? Тогда не так жалко, но все равно непонятно…) Да ведь не станешь же спрашивать малознакомого человека, откуда у него такое имя, а на облический вопрос о родителях Агасфер Лукич ответил мне: «О, мои родители – они были так давно…» – и тут же перевел разговор на другую тему.

Удивляла популярность Агасфера Лукича в Ташлинске. Когда я уезжал в Ленинград, никто здесь о нем и слыхом не слыхивал, а теперь, спустя всего две недели, не было, казалось, ни одного человека ни в обсерватории, ни даже в городе, чтобы в Агасфере Лукиче не был заинтересован. Даже совсем незнакомые мне люди останавливали меня на улице (в магазине, на терренкуре, на автобусной остановке), чтобы справиться, как идут дела у Агасфера Лукича, и передать ему самые благие пожелания. Хуже того: после вороватых озираний по сторонам сообщалось что-нибудь вроде того, что договор-де можно бы и подписать, но только сумму страховки неплохо бы было удвоить. И странное дело! Когда я об этом Агасферу Лукичу сообщал, он всегда мгновенно понимал, о ком именно идет речь, словно заранее ждал эти приветы и эти предложения, и тут же из недр затерханного пиджачка появлялась знаменитая его записная книжка, и вываливающиеся страницы принимались порхать в его пальцах с такой скоростью, что казалось, будто они вот-вот загорятся от трения о воздух. И загорались ведь, я видел это собственными глазами, и не раз: загорались, горели и не сгорали…

Воистину, Агасфер Лукич, говорил я ему с опаской, воистину страховое дело в наши дни требует от своих адептов способностей вполне необычайных. На что он обычно отвечал мне

со странным своим смешком: «А как же, батенька. Конкуренция! Нынешний страховой агент – это, знаете ли, человек высоко и широко образованный, это, батенька, дипломированный инженер или кандидат наук! Изощренность потребна, батенька, одной науки мало, надобно еще и искусство, а иначе того и гляди перехватят клиента, чихнуть со вкусом не успеешь!»

Наукой здесь и не пахло. Пахло мистикой. Преисподней здесь пахло, государи мои! Эта мысль приходила на ум всякому, кто хоть раз видел в действии портфель Агасфера Лукича. Портфель этот был таков, что с первого взгляда не производил какого-нибудь особенного впечатления: очень большой, очень старый портфель, битком набитый папками и какими-то бланками. Обычно он мирно стоял где-нибудь под рукой своего владельца и вел себя вполне добропорядочно, но только до тех пор, пока Агасферу Лукичу не подступала надобность что-нибудь в него поместить. То есть, когда Агасфер Лукич что-нибудь из этого портфеля доставал, портфель реагировал на это, как любой другой битком набитый портфель: он сыто изрыгал из недр своих лишние папки, рассыпал какие-то конверты, исписанные листы бумаги, какие-то диаграммы и графики, подсовывал в шарящую руку ненужное и прятал искомое. Однако же когда портфель открывали, чтобы втиснуть в него что-нибудь еще (будь то деловая бумага или целлофановый пакет с завтраком), вот тут можно было ожидать чего угодно: фонтанчика ледяной воды, клубов вонючего дыма, языка пламени какого-нибудь и даже небольшой молнии с громом. По моим наблюдениям, Агасфер Лукич и сам несколько остерегался своего портфеля в такие минуты.

Это о портфеле.

А теперь о телефоне. Агасферу Лукичу звонили довольно часто, и тогда он брал трубку, выслушивал и отвечал что-нибудь краткое, например, «Согласен» или, наоборот, «Не пойдет», а иногда даже просто «Угу», и сразу клал трубку, а если ловил при этом мой взгляд, то немедленно прижимал к груди короткопалую грязноватую лапку и безмолвно приносил извинения.

По своему же почину он прибегал к телефону редко, и выглядели такие его акции дешевым аттракциончиком. Извинительно улыбаясь, он выдергивал телефонную вилку из розетки, уносил освободившийся аппарат в свой угол и там, снявши трубку и отгораживаясь от меня плечом, принимался дудеть в нее что-то малоразборчивое, так что я схватывал только отдельные слова, иностранные какие-то слова, а может, и не просто слова, а имена собственные, очень меня в те времена интриговавшие. Откровенно говоря, все это было не столько даже странно, сколько смешно. Меня разбирало, я хохотал, несмотря на владевшее мною тогда дурное настроение. Я полагал, что он меня таким образом развлекает, этот серенький потешный клоун, но однажды я случайно проснулся в необычную для меня рань и стал свидетелем того, как он разыгрывает эту свою телефонную пантомиму, полагая меня спящим. И оказалось тогда, что ничего смешного во всем этом нет. Страшно это было, до обморока страшно, а вовсе не смешно…

Я сижу сейчас на заляпанном известкой топчане в пустой комнате, оклеенной дешевенькими обоями, совершенно один, жду и трусливо посматриваю на дверь в Кабинет, и дверь эта, как всегда, распахнута настежь, а за нею, как всегда, космический мрак, и, как всегда, неохотно разгораются там и сразу же гаснут белесые огни.

Я пишу все это, потому что не знаю иного способа передать свое знание еще хоть кому-нибудь, пишу плохо, «темно и вяло»[10], пишу сумбурно, ибо многое спуталось в моей бедной памяти, пораженной увиденным. Я раздавлен, унижен, растерян и потерян.

У нас есть чувство глубокого удовлетворения, есть чувство законного негодования, а вот с чувством собственного достоинства у нас давно уже напряженка. Поэтому, когда наш немудрящий опыт и наша многоопытная мудрость, столь же глубокая, как глубокая тарелка для супа, сталкиваются даже не с жутковатым Агасфером Лукичом или с его вполне жутким партнером (хозяином? творцом?), а просто хотя бы и с отпетым хамом или образцово-показательным подлецом, – мы, как правило, теряемся. Нам бы опереться тут на чувство собствен-

ного достоинства, раз уж недостает мудрости или хотя бы жизненного опыта, но собственного достоинства у нас нет, и мы становимся циничными, небрежными и грубо-ироничными. Так что пусть никто не удивляется тому ерническому тону, в котором пишу я обо всех этих моих обстоятельствах. Ничего забавного и занимательного в них нет. На самом деле мне страшно. И всегда было страшно. Я уж не помню, с какого момента. По-моему, с самого начала…

3. Приемная наша более всего напоминает мебельный склад. Югославский гарнитур «Архитектор» из тридцати семи предметов чудом втиснут на площадь в 18,58 квадратных метров. Здесь есть два трельяжа, чудовищная, невообразимая, необозримая кровать, на которой лежат двенадцать полумягких стульев, а могло бы валяться двенадцать десантников со своими девками. Имеют место и какие-то застекленные шкафы неизвестного назначения, и микроскопическая книжная стенка, уставленная муляжами книг, выполненными весьма реалистично. (Помнится, увидевши впервые золотыми буквами на корешках: Р. Киплинг, Петроний Арбитр, Эдгар Райс Берроуз, – я среагировал мгновенно и непроизвольно: «Все! Это я сопру, и будь что будет!» И каково же было разочарование мое, когда, выдернув вожделенный томик, обнаружил я в руках своих пустую картонную обложку, и вынырнувший у меня из-под локтя Агасфер Лукич произнес сочувственно: «Декорация, Сережа. Всего лишь декорация». Впрочем, со временем обнаружились у нас в квартире и настоящие книги, множество книг. Однако все это были словари да энциклопедии, только словари, справочники, руководства и энциклопедии: «Словарь атеиста», «Техническая энциклопедия», «Медицинский справочник для фельдшеров», «Краткий словарь по эстетике», «Мифологический словарь», «Дипломатический церемониал и протокол», «Справочник по экспертизе филателистических материалов», «Словарь ветров»… Видимо, подразумевалось, что я должен стать эрудитом. И я попытался им стать. Без особого, впрочем, успеха.)

Есть в Приемной два кресла лоснящейся коричневой кожи, одно для посетителей, а другое – непонятно для кого, ибо из самой середины его сиденья совершенно открыто и нагло торчит длинный стальной шип сантиметров двадцати, да такой острый, что озноб пробирает по коже за того беднягу, которому предназначено устроиться на нем.

Кроме этого шипа, есть в Приемной и другие предметы, не входящие в югославский гарнитур. Очень большие и разношенные полосатые тапочки выглядывают из-под кровати. В самом дальнем углу, куда я так до сих пор и не сумел добраться, торчком стоят толстые рулоны – то ли географических карт, то ли линолеума, то ли ковров, а быть может, и просто бумаги. Рядом с рулонами, загораживая половину окна, висит картина на античный сюжет: Сусанна и сладострастные старцы[11]. Старцы там как старцы, и Сусанна, в общем-то, как Сусанна, но почему-то с большим пенисом, изображенным во всех анатомических подробностях. Рядом с этими подробностями морщинистые физиономии и масленые глазки старцев, и даже их рдеющие плеши приобретают совершенно особенное, не поддающееся описанию выражение.

И великое множество телевизоров. Число их и модели все время кем-то меняются, но никогда их не бывает меньше четырех. Включать и выключать их я не умею, они включаются и выключаются сами собой. И сами собой они наводятся на резкость, и сами собой устанавливают контрастность, и сами выбирают себе программу, и, надо сказать, странноватые, как правило, оказываются у них программы. Помню, однажды вдруг пошла передача из прозекторской. Точнее, художественный фильм из жизни патологоанатомов. Изумительное изображение, пиршество красок, показалось, даже запахами потянуло. Клиента, застигнутого этой передачей, мне пришлось спешно выволакивать в санузел, и все-таки он заблевал мне часть Приемной и весь коридор. (Помнится, он был начфином Н-ского стройбата и пришел выпрашивать для нашего советского рубля статуса свободно конвертируемой валюты.) Или, помнится, однажды «Джейвиси» битых полтора часа передавал в черно-белом варианте практиче-

ские уроки, как восстанавливать и затачивать иголки для примуса. Это надо же, оказывается, и такие иголки еще существуют…

Телефоны. Их всегда три. Один стоит на моем столике – роскошный, с кнопочным управлением, с запоминающим устройством на двести пятьдесят шесть номеров, с маленьким встроенным экраном и с дисководом для гибких дисков. Он не работает. Второй телефон присобачен к филенке двери позади моего рабочего места. Это обыкновенный таксофон, можно бросить монетку и позвонить родным и близким, у кого они есть. Можно не звонить. Иногда он разражается отвратительными квакающими звуками. Я снимаю трубку, и Демиург говорит мне что-нибудь, не предназначенное для ушей клиента. Как правило, это распоряжения из ресторанно-отельного репертуара. «Такому-то на обед полпорции селянки, да погорячее». Или: «Постельное белье в номерах опять сырое. Проследите». Или даже: «Сергей Корнеевич, не в службу, а в дружбу. Башка трещит, сил нет. У вас там, кажется, был пенталгин…» Тогда я извиняюсь перед клиентом и бегу отрабатывать свой хлеб. Смысла или хотя бы простой логики во всем этом я уже давно не ищу… Что же касается третьего телефона, то это золотой предмет в стиле ретро, в сумраке он светится, и толку от него никакого, потому что стоит он на шкафу, перед которым расположено трюмо, перед которым, в свою очередь, стоят друг на друге две полированные тумбочки для постельного белья. Иногда этот золоченый мегатерий[12] звонит. Звон у него нежный, мелодичный, он радует слух. Так что толку от него все же больше, чем от Сусанны.

Каждое утро я ползаю, карабкаюсь, протискиваюсь среди всего этого добра с пылесосом. Пылесос у нас замечательный. Собранную пыль он прессует в брикеты. Брикеты я сдаю под расписку Агасферу Лукичу, он составляет акт о списании и бросает эти брикеты в свой портфель. Расписку и акт я обязан вручать лично Демиургу. Совершенно не могу понять, откуда в Приемной набирается столько пыли. Ей-богу, каждые сутки граммов на двести брикетов…

Особенная пылища собирается почему-то в платяном шкафу. Есть в Приемной такой, вполне доступный, и в нем полно одежды. На все возрасты и на все вкусы. Там можно найти мужской костюм-тройку, совершенно новый, ни разу не надеванный. А рядом будет висеть мятый плащ-болонья с рукавом, испачканным уличной засохшей грязью, и в кармане плаща найдется смятая пачка «Примы» с единственной, да и то лопнувшей сигаретой. В шкафу можно обнаружить и школьную форменную курточку с заштопанными локтями, и великолепное мохнатое пальто с плеча какого-то современного барина, и полный кожаный женский костюм с отпечатками решетчатой садовой скамейки на заду и на спине, и целый кочан разноцветных мужских сорочек, нацепленных на одну распялку… А внизу, в слое старой и новой разрозненной обуви, я нашел вчера табель ученика пятого «А» класса 328-й школы Манохина Сергея с оценками за первую четверть 1958 года, с двойкой по истории и с двумя тройками – по рисованию и по физкультуре…

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на терренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он…

Дневник. 12 июля

…Это примерно в пятнадцати километрах от города.

На десятом километре северо-восточного шоссе надо свернуть налево на грунтовую дорогу. Дорога петляет между холмами и все время идет почти параллельно Ташлице, которая протекает здесь между высокими обрывистыми берегами белой и красной глины. Холмы округлые, выгоревшие, покрыты короткой жесткой колючей травкой. Пыль за машиной поднимается до самого неба. Километра через два после поворота слева от дороги открывается вид на древний скотомогильник. Огромная страшная гора лошадиных, бараньих, коровьих черепов, хребтов, лопаток, ребер, кости эти белые, как пыль, глазницы черные. Впечатляет. Г. А. говорит, что этому скотомогильнику лет сто, а может быть, и двести.

От скотомогильника по спидометру ровно три километра – и попадаешь в райский уголок. Это распадок между холмами, большие деревья, тень, прохлада, мягкая зеленая трава, кое-где выше пояса. Ташлица делает здесь излучину и разливается, образуя заводь. Гладкая черная вода, листья кувшинок, заросли камыша, синие стрекозы. Парадиз. Потерянный и возвращенный рай[13].

Впрочем, вид стойбища Флоры основательно портит это впечатление. Похоже, они раздобыли где-то оболочку старого аэростата и набросили ее на верхушки молодых деревьев и высокого кустарника, так что получилось нечто вроде огромного неряшливого шатра неопределенного грязного цвета с потеками. Видимо, под этим шатром они всей толпой спасаются от дождей. Трава вокруг вытоптана и стала желтая. Неописуемое количество мятых бумажек, оберток, рваных полиэтиленовых пакетов, окурков и пустых консервных банок и бутылок. Запахи. Мухи. Множество черных выгорелых пятен – кострища. Тошнит на это глядеть, честное слово.

Между кустами натянуты веревки. На веревках сушится тряпье: майки, юбки, пятнистые комбинезоны, подозрительные какие-то подштанники… На других веревках вялится рыба. Оказывается, в Ташлице довольно много рыбы, кто бы мог подумать! Несколько костров дымится, булькают закопченные котелки над огнем. Сорок тысяч лет до новой эры. А в отдалении, сцепившись рогами, теснится целое стадо мотоциклов.

Фловеры нашим прибытием заинтересовались, но пассивно. Кто сидел – остался сидеть, кто лежал – остался лежать, а прямостоящих или прямоходящих я не заметил там ни одного. Множество лиц повернулось в нашу сторону, множество рук поднялось, но не для приветствия, а чтобы прикрыть глаза от низкого солнца. Судя по движениям губ, последовал множественный обмен неслышными репликами. И только.

Павианий вольер, вот на что это было похоже больше всего. Было их там сотни две особей. Г. А. рассказывал, что они собираются сюда каждое лето со всего Союза, живут недели по две и перебредают в другие регионы, а на их место прибредают новые. Однако процентов десять составляют наши, местные, ташлинские. Главным образом школьники. Я искал знакомые лица, но не обнаружил ни одного.

Г. А. достал из багажника кошелку и направился наискосок через стойбище к самому населенному костру, расположенному в десятке метров от берега. Вокруг костра этого сидело человек пятнадцать, и, когда мы приблизились, народ раздвинулся и освободил нам место, всем троим. Г. А., усевшись, пробормотал: «Принимайте в компанию», – и принялся извлекать из кошелки продукты. Он неторопливо вынимал пакет за пакетом – крупу, консервные банки, леденцы, макароны, твердую колбасу – и, не глядя, передавал девице, сидевшей справа от него. Она брала, говорила: «Спасибо…» – и передавала дальше по кругу. Фловеры оживились, зашевелились. Огромный парень, сплошь заросший (от макушки до пупка) черным курчавым волосом, в десантном комбинезоне, спущенном до пояса, принявши очередной пакет, надорвал его,

заглянул внутрь и высыпал содержимое – мелкую вермишель – в кипящий котелок. Фловеры шевелились, усаживались поудобнее, я ловил на себе одобрительные взгляды. Вокруг произносились слова, которые я большей частью не понимал. Это был какой-то совершенно незнакомый жаргон, ужасная смесь исковерканных русских, английских, немецких, японских слов, произносимых со странной интонацией, напомнившей мне китайскую речь, – какое-то слабое взвизгивание в конце каждой фразы. Я несколько раз повторил про себя: «Каждый человек – человек, пока он поступками своими не доказал обратного», – и посмотрел на Микаэля. У Микаэля моего был такой вид, будто его вот-вот вытошнит – прямо на спину Г. А. Я понял, почему Г. А. взял с собой именно его. Он брезглив, наш Майкл, а ведь он не имеет права быть брезгливым. Любовь и брезгливость несовместны.

Г. А. посоветовал покрошить в котелок колбасы. Наголо стриженная девица (с грязноватым лицом и гигантским боа из кувшинок на голых плечах) послушно принялась крошить колбасу. Г. А. не посоветовал сыпать в котелок консервированные креветки, и банка креветок была отставлена. Поварская ложка была уже в руке у Г. А., он ворочал ею в котелке, зачерпывал, пробовал, подувши через губу, и все смотрели теперь на него и ждали его решений. Он сказал: «Соль», – и за солью сейчас же побежали. Он сказал: «Перец», – но перца во Флоре не оказалось.

Я честно наблюдал их, стараясь сформулировать для себя: что они такое? (Я не чувствовал себя учителем, я чувствовал себя этнографом, в крайнем случае, врачом.) Парни были как парни, девчонки – как девчонки. Да, некоторые из них были неумыты. Некоторые были грязны до неприятности. Но таких было немного. А в большинстве своем я видел молодые славные лица – никакой патологии, никаких чирьев, трахом и прочей парши, о которых столько толкуют флороненавистники, и, конечно же, все они разные, как и должно быть. И все-таки что-то общее есть у них. То ли в выражении лиц (очень бедная мимика, если приглядеться), то ли в выражении всего тела, если можно так говорить. Расслабленность движений почти нарочитая. Никто не положит предмет на землю – обязательно уронит, вяло разжавши пальцы. И не на то место, с которого взял, а на то место, которое поближе, словно сил уже не осталось протянуть руку…

И еще – непредсказуемость поступков. Я не взялся бы предсказывать их поступки, даже простейшие. Вот сидел-сидел, перекосившись набок, пришла пора хлебать из котелка, а он вдруг встал и лениво удалился – на другой конец стойбища – и там сел у другого костра. А на его место явился новый – длинный и тощий, как шест, в десантном комбинезоне, на широком ремне – фляга, на ногах – эти их знаменитые «корневища», огромные пуховые лапти, выкрашенные в зеленое. Пришел, уселся, отцепил флягу, полил свои корневища водицей и объявил, ни к кому не обращаясь: «Здесь врастаю». И стал, прищурясь, смотреть на Г. А.

Было ему лет двадцать пять, был он гладко выбрит и подстрижен вполне обыкновенно, в расстегнутом вороте комбинезона висела на безволосой груди какая-то эмблемка на цепочке. Живые ореховые глаза, большой рот уголками вверх и отличные белые зубы. Сразу было видно – это ихний предводитель. *Ну́си*. И ни в одном ухе не было у него этих чертовых музыкальных заглушек, *функов,* из-за которых они выглядят такими сонными и как бы не от мира сего. Этот был вполне от мира сего, невзирая на свой комбинезон, корневища и прочие вытребеньки. И он явно знал Г. А. (Есть у меня подозрение, что и Г. А. его знает. Где-то они уже встречались и не слишком любят друг друга. Однако это все чистая интуиция. Мойша считает, что я все это выдумал.)

Тут почти голая девица, сидевшая слева от меня, тоненько рыгнула, отдулась, облизала ложку и произнесла с удовлетворением:

– Побе́ги – да́сьта.

(Мишель объяснил мне потом, что это значит. Это – по-русско-японски – «дать побеги». В прежние времена она сказала бы «словила кайф», а теперь вот – «дала побеги». Флора!)

Наевшись, они завозились, устраиваясь на переваривание. Кто-то закурил. Кто-то принялся шумно жевать *бетель*, пуская оранжевые слюни. Кто-то захрустел леденцами. Начался *зеленый шум*[14]. Конечно, я не понимал и половины того, что говорилось, но, по-моему, там и понимать особенно было нечего. Один вдруг заявляет: «Щекотно. Червяки по корням ползают». Другой тут же откликается: «Личинки совсем заели. Дятлов на них нет. И ведь не почешешься». Третий вступает: «Влаги мало. Сухо мне, кусты. Влаги бы мне побольше». И так далее без конца. И видно, что им это очень нравится. Всем без исключения. На лицах блаженные улыбки, и даже глаза блестят.

Потом вдруг поднялся один парень в пестрых плавках и в полосатой распашоночке, отошел на несколько шагов в сторону, выбрал площадку поровнее и принялся выламываться в медленном, почти ритуальном танце. Надо понимать, он плясал под свой функен, так что музыку слышал он один, а мы видели только ритм этой музыки. И нам это нравилось, и пока он танцевал, зеленый шум притих, все смотрели на танцора, а когда он устал, остановился, сел и лег, все как бы перевели дух, и моя соседка слева снова произнесла: *«Побеги – дасьта».*

Тем временем начало смеркаться, и луна объявилась над деревьями. Объявились комары. Над заводью возник туман и стал распространяться на прибрежные кусты. Вдруг взревели двигатели, вспыхнули фары, грянула в полную мощь огромная музыка, и дюжина всадников на мотоциклах умчалась прочь – перевалила через вершину ближнего холма, и снова стало тихо.

Какой-то парнишка по ту сторону костра (видимо, новичок, почти не знающий жаргона) принялся рассказывать про суд, который прошел вчера в городе. Трое *гомозяг* из спецтеха, которые целый год спокойно курочили автомашины и приторговывали запчастями, получили по году принудработ, поскольку руки у них золотые и все сверху донизу характеризуют их положительно. А фловера – Костик из Хабаровска, рыженький такой, без переднего зуба – засадили на месяц клозеты мыть задаром на «тридцатке», на мясокомбинате, за то, что два батона стяжал в булочной, когда фургон разгружал.

Флора помолчала, усваивая информацию. Кто-то пробормотал: «Круто здесь у них». Пошли вопросы. Как фамилия судьи, сколько заседателей? Почему не шесть? Как зовут? Кто возбудил дело? Парнишка почти ничего не знал. Он не знал даже, что в суде бывает адвокат. «Тихий ты, куст», – упрекнули его и оставили в покое.

Кто-то стал рассказывать про суд в Челябинске, но это уже был сплошной жаргон, я не понял даже, хороший там в Челябинске был суд или плохой. За что и кого судили, я тоже не понял. «Не суди, и не судим будешь», – почти пропел в сумраке женский голос. Слова эти прозвучали пронзительной, отчетливой, высшей правдой после шумовой неубедительности жаргона.

И тут заговорил нуси.

Это была проповедь. На прекрасном литературном языке. Если он и переходил на жаргон, то лишь для того, чтобы особо подчеркнуть, растолковать самым непонятливым какую-нибудь важную для него формулировку.

Он говорил о Флоре. Он говорил об особенном мире, где никто никому не мешает, где мир, в смысле Вселенная, сливается с миром, в смысле покоя и дружбы. Где нет принуждения, и никто ничем никому не обязан. Где никто никогда ни в чем не обвиняет. И поэтому счастлив, счастлив счастьем покоя.

Ты приходишь в этот мир, и мир обнимает тебя. Он обнимает тебя и принимает тебя таким, какой ты есть. Если у тебя болит, Флора отберет у тебя эту боль. Если ты счастлив, Флора с благодарностью примет от тебя твое счастье. Что бы ни случилось с тобой, что бы ты ни натворил, Флора верит и знает, что ты прав. Флора никому не навязывает свое мнение, а ты свободен высказаться о чем угодно и когда угодно, и Флора выслушает тебя со вниманием. За пределами Флоры ты дичь среди охотников, здесь же ты ветвь дерева, лист куста, лепесток цветка, часть целого.

Он говорил о законах Флоры. Флора знает только один закон: не мешай. Однако, если ты хочешь быть счастливым по-настоящему, тебе надлежит следовать некоторым советам, добрым и мудрым. Никогда не желай многого. Все, что тебе на самом деле надо, подарит тебе Флора, остальное – лишнее. Чем большего ты хочешь, тем больше ты мешаешь другим, а значит, Флоре, а значит, себе. Говори только то, что думаешь. Делай только то, что хочешь делать. Единственное ограничение: не мешай. Если тебе не хочется говорить, молчи. Если не хочется делать, не делай ничего.

Пила сильнее, но прав всегда ствол.

Ты нашел бумажник? Берегись! Ты в большой опасности.

Хотеть можно только то, что тебе хотят дать.

Ты можешь взять. Но только то, что не нужно другим.

Всегда помни: мир прекрасен. Мир был прекрасен и будет прекрасен. Только не надо мешать ему.

(Г. А. сказал потом по этому поводу: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и страшный Ча не поймает тебя»[15]. – И спросил: «Откуда?»)

В самый разгар проповеди странные звуки привлекли мое внимание. Я вгляделся сквозь дым и обмер. Тот самый бородатый-волосатый (обволошенный) принялся овладевать своей бритой соседкой.

Мне сделалось невыносимо стыдно. Я опустил глаза и не мог больше поднять их. Особенно мучительно было сознавать, что все это видят и Мишка, и Г. А. За фловеров мне тоже было стыдно, но их-то как раз все это совсем не шокировало. Я видел, как некоторые поглядывали на совокупляющуюся пару с любопытством и даже с одобрением.

«Внезапно из-за кустов раздалось странное стаккато, звук, который я до сих пор не слышал, ряд громких, отрывистых О-О-О; первый звук О был подчеркнутый, с ударением и отделен от последующих отчетливой паузой. Звук повторялся вновь и вновь, и через две или три минуты я понял, что было его причиной. Ди Джи спаривался с самкой»[16].

Вопрос: откуда? Ответ: Джордж Б. Шаллер «Год под знаком гориллы».

Рукопись «03» (4)

4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на терренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он с небрежностью, показавшейся мне несколько нарочитой, спросил:

– Как там у вас сейчас насчет субстанции?

– Где это – у нас? – осведомился я, пребывая в настроении злобно-ироническом.

– Ну, в Ленинграде, в Москве…

– Да как везде, – сказал я, продолжая оставаться в том же настроении. – Семнадцать тридцать пять. А повезет – так десять с маленьким.

– Ну да, ну да… – промямлил Гриня неопределенно. – Ну, а если, скажем, она особая?

– «Особая»?.. Да ее, по-моему, давно уж не выпускают.

– Да нет, я не про эту «Особую» тебя… – сказал Гриня нетерпеливо. – Я тебя спрашиваю: особая субстанция – как? Нематериальная, независимая от моего тела!

Я пригляделся к нему, но ничего такого не заметил. Вообще-то, Гриня, по моим наблюдениям, был человек непьющий и вполне положительный. Хозяин. Лучший садовый участок при обсерватории. С домиком. Все своими руками. Старый «Москвич» собрал себе своими руками… Он правильно оценил мой взгляд и несколько смутился.

– Да нет, это я так… – проговорил он уклончиво и вдруг принялся рассказывать, как заезжие гастролеры в прошлом году обманули мать его, старуху, выклянчивши у нее за пятерку дедовскую икону, коей цены нет и за которую любой музей отдал бы, не глядя, два стольника, самое малое.

Я слушал его с недоумением, а он вдруг, оборвав свой рассказ, предложил мне зайти к нему в «домишко» через два часа, чтобы «посвидетельствовать». Он, оказывается, хочет некую сделку совершить, и нужно ему, чтобы при том присутствовал надежный человек.

Не могу сказать, чтобы предложение это пришлось мне по вкусу, однако и отказаться я тоже не мог. Нас с Гриней связывают давние приятельские отношения, еще с начала шестидесятых, когда я был начальником, а он шофером экспедиции, занимавшейся в Туркестане поисками места для установки Большого Телескопа. Гриня мне многим был обязан, да и я ему кое-чем обязан был, ибо оба мы были грешны в молодости, Гриня – побольше, я – поменьше, но оба.

И вот спустя два часа, то есть поздним уже вечером, оказался я в Гринином «домишке», что прятался в зарослях каких-то экзотических кустов на его садовом участке. Снаружи стояла глубокая южная тьма, кричали цикады, пахло пряностями и цветами, а внутри под лампой с розовым абажуром за столом, покрытым старенькой, но чисто выстиранной скатертью, некогда роскошной, сидели мы втроем: Гриня (Григорий Григорьевич Быкин, водитель первого класса), я (Сергей Корнеевич Манохин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник) и Агасфер Лукич (Агасфер Лукич Прудков, агент Госстраха).

ГРИНЯ: осведомляется у Агасфера Лукича, не возражает ли тот против присутствия здесь вот этого вот свидетеля.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: не только не возражает, но всячески приветствует, ибо знает, ценит и полностью доверяет.

ГРИНЯ: предлагает прямо приступить к делу, потому что мало ли что.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: суетливо и хлопотливо извлекает из переполненного портфеля своего розовые бланки страховых свидетельств и принимается за работу.

ГРИНЯ (с некоторой тревогой): А это на кой хрен понадобилось?

АГАСФЕР ЛУКИЧ (не переставая бегать пером): А как же иначе, батенька? Без этого никак нельзя. Это, можно сказать, всему голова.

ГРИНЯ: с хмурым недоумением смотрит на Агасфера Лукича, затем лицо его вдруг проясняется, словно он что-то понял.

Я: не понимаю ничего, начинаю раздражаться, но пока молчу.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: профессионально сияя, вручает Грине «Страховое свидетельство по страхованию от несчастных случаев».

ГРИНЯ (просматривает свидетельство и ухмыляется): Как раз трешник. Вот потом и вычтешь…

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Само собой, само собой. Тут у меня все учтено. (Достает из портфеля и кладет перед Гриней большой лист плотной белой бумаги, исписанный от руки чрезвычайно красивым, каллиграфически красивым почерком с наклоном влево.)

ГРИНЯ: изнуряюще долго читает текст, шевеля губами, зверски наморщив при этом лоб.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: приятно улыбается.

Я: не знаю, что и думать, испытываю самые неприятные, но решительно неясные подозрения.

ГРИНЯ: дочитав документ по второму разу, с большим сомнением мотает щеками.

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Замечания? Дополнения?

ГРИНЯ: Не пойдет так. Не нравится. Тут у вас, например, сказано прямо… (читает вслух) «Передаю мою особую нематериальную субстанцию, независимую от моего тела…» Не пойдет. Насчет субстанции я справки навел, много неясного… Тем более – «особая».

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Понял вас. Разумно.

ГРИНЯ: Во-вторых. Не передаю, а, скажем, отдаю в аренду…

АГАСФЕР ЛУКИЧ: На девяносто девять лет.

ГРИНЯ: Н-н-н… Ладно. Это еще туда-сюда… Тоже, между прочим, могли бы навстречу пойти… Ну, ладно. И главное! (Строго стучит ногтем по бумаге.) Прямо здесь должно быть сказано: трешками! Других не приму!

АГАСФЕР ЛУКИЧ: Момент! (Жестом фокусника выхватывает из портфеля и кладет перед Гриней новый роскошный лист, исписанный тем же каллиграфическим почерком.)

ГРИНЯ: подозрительно поглядев на Агасфера Лукича, вновь погружается в чтение.

Я: только диву даюсь, на какие ухищрения приходится идти нынешнему страхагенту ради трех рублей: я заметил уже, что первый каллиграфический лист словно растворился в воздухе, на скатерти его больше нет, и неприятные подозрения во мне укрепляются.

ГРИНЯ (прочитав, передает лист мне): «Ознакомься, Корнеич», – говорит он озабоченно.

Я: ознакамливаюсь, и волосы мои встают дыбом.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

> Я, нижеподписавшийся Григорий Григорьевич Быкин, в присутствии свидетеля, названного мною Сергеем Корнеевичем Манохиным, отдаю предъявителю сего в аренду на 99 (девяносто девять) лет, считая с сего 1 августа 19.. года, свое религиозно-мифологическое представление, возникающее на основе олицетворения жизненных процессов моего организма, в обмен на 2999 (две тысячи девятьсот девяносто девять) казначейских билетов трехрублевого достоинства образца 1961 года. Каковая сумма должна оказаться в моем распоряжении в течение двадцати четырех часов с момента подписания мною данного акта.
>
> *Дата. Подпись.*

Я: в полном обалдении принимаюсь читать все сначала.

ГРИНЯ (скворчит у меня над ухом): Религиозное… это… как его там… религиозное – это одно, не жалко… А субстанция – совсем другое дело, как ты считаешь, Корнеич?

АГАСФЕР ЛУКИЧ (ласково вещает где-то на краю моего сознания): Очень разумно, очень здраво поступаете, Григорий Григорьевич.

Я (как всегда, слетевши с рельсов повседневности, оказавшись в положении идиотском и абсолютно фальшивом, перескакиваю в истинно-мужскую грубоватую иронию и произношу первую же пришедшую на ум пошлость): С тебя полбанки, Гриня, в честь такого дела!

Даже то ничтожное мозговое усилие, которое потребовалось мне, чтобы изрыгнуть вышеприведенную пошлость, оказалось, видимо, в тогдашнем моем состоянии чрезмерным. То ли обморок, то ли прострация овладели мною. Дальнейшее вспоминается мне урывками. И как бы сквозь некую вуаль. Отчетливо помню, однако, как Агасфер Лукич, опасливо отклонясь, раскрыл портфель, и оттуда, словно из печки с раскаленными углями, шарахнуло живым жаром, даже угарцем потянуло, а Агасфер Лукич, схвативши (видимо, уже подписанный Гринею) акт передачи, сунул его в самый жар, в багрово-тлеющее, раскаленное, и торопливо захлопнул крышку, лязгнув железными замками.

– А не сгорит оно там к ядрене-фене? – опасливо спросил Гриня, следивший за всей этой процедурой с понятной настороженностью.

– Не должно, – озабоченно ответствовал Агасфер Лукич и наклонил к портфелю живое ухо, как бы прислушиваясь к тому, что происходит там внутри.

Помню также, что Гриня принялся немедленно и без всякого стеснения нас выпроваживать.

– Давайте, давайте, мужики, – приговаривал он, слегка подталкивая меня в поясницу. – Так ты обещаешь, что под орехом? – спрашивал он Агасфера Лукича. – Или под платаном все ж таки? Осторожно, ступеньки у меня тут крутые…

Агасфер же Лукич отвечал ему:

– Именно под орехом, Григорий Григорьевич. Или уж в самом крайнем случае – под платаном…

Затем, помнится, шли мы с Агасфером Лукичом по терренкуру в кромешной тьме, разноображенной разве что огоньками светлячков, Агасфер Лукич явственно сопел у меня под ухом, цепляясь за локоть мой, и, помнится, спросил я его тогда, не хочет ли он дать мне какие-нибудь объяснения по поводу происшедшего. Решительно не сохранилось в моей памяти, ответил ли он что-либо, а если и ответил, то что именно.

Сейчас-то я понимаю, что ни в каких ответах и ни в каких таких особенных объяснениях я в ту ночь уже не нуждался. Конечно, многие детали и нюансы были тогда мне непонятны, так ведь они остаются непонятны мне и сейчас. В них ли дело?

Надо сказать, Агасфер Лукич никогда и не делал особенной тайны из своих трансакций. Попытки легализовать свою сомнительную деятельность сопутствующими страховыми операциями не могут, разумеется, рассматриваться как серьезные. Они производят впечатление скорее комическое. В главном же Агасфер Лукич всегда был вполне откровенен и даже, я бы сказал, прямолинеен – просто ему не нравилось почему-то называть некоторые вещи своими именами. Отсюда это почти трогательное пристрастие к неуклюжим эвфемизмам – и даже не к эвфемизмам, собственно, а к суконным формулировкам, извлеченным из каких-то сомнительных учебных пособий и походно-полевых справочников по научному атеизму. Впрочем, и контрагенты его, насколько мне известно, как правило, предпочитали эвфемизмы. Забавно, не правда ли?

Не знаю, существует ли в системе Госстраха понятие «служебная тайна», «тайна вклада» или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, Агасфер Лукич любил поболтать. Без малейшего побуждения с моей стороны он поведал мне множество историй, как правило, комичных и всегда анонимных, – имен своих клиентов Агасфер Лукич старательно бежал. Иногда я дога-

дывался, о ком идет речь, иногда терялся в догадках, а чаще всего догадываться и не пытался. Сейчас все эти истории, вероятно, тщательно анализируются прокуратурой, не буду их здесь приводить. Но не могу не восхититься деловой хваткой зама нашего по общим вопросам товарища Суслопарина и не могу не плакать о судьбе бедного моего друга Карла Гавриловича Рослякова.

Суслопарин был единственным человеком (насколько мне известно), который без стеснения называл все вещи своими именами. Никаких субстанций, никаких религиозных представлений – ничего этого он признавать не желал. Цену он запросил немалую: гладкий, без ухабов и рытвин, путь от нынешнего своего поста через место директора номерного сверхважного завода, главнейшего в нашей области, к, сами понимаете, посту министерскому. Не более, но и не менее. Однако, много запрашивая, немало он и предлагал. А именно, всех своих непосредственных подчиненных с чадами и домочадцами предлагал он в бездонный портфель Агасфера Лукича. Говоря конкретно, предлагались к употреблению: помощник товарища Суслопарина по снабжению И. А. Бубуля; комендант гостиницы-общежития Костоплюев А. А. с женой и свояченицей; племянник начальника обсерваторского гаража Жорка Аттедов, коему все равно в ближайшее время грозил срок; и еще одиннадцать персон по списку.

Самого себя товарищ Суслопарин включать в список не спешил. Он полагал это несвоевременным, он выражал опасение, что это было бы неверно понято. Агасфера Лукича казус этот приводил почти в неистовство. По его словам, это было невиданно, неслыханно и беспрецедентно. С этаким он не встречался даже в Уганде, где поселен он был в отдельный дворец для иностранцев. Нынешнее же положение его чрезвычайно осложнялось еще и тем обстоятельством, что сделка такого рода никакими нравственными правилами не запрещалась, но влекла за собой массу чисто технических осложнений и неудобств. Переговоры затягивались, и я так и остался в неведении, чем они завершились.

Совсем в другом роде история разыгралась с Карлом Гаврилычем, директором обсерватории. Я хорошо знал его, мы учились на одном факультете, он был старше меня на три курса. Я играл тогда в факультетской волейбольной команде, а он был страстным болельщиком. Боже мой, как он любил спорт! Как он мечтал бегать, прыгать, толкать, метать, давать пас, ставить блок! От рождения у него были сухая левая рука и врожденный вывих левого бедра. Это печальное обстоятельство плюс ясная, все запоминающая голова определили его жизнь. Он быстро продвигался по научной лестнице и сделался блестящим доктором, когда я еще в ухе ковырял над своей кандидатской. За ним были все мыслимые почести и звания, о которых может мечтать ученый в сорок пять лет, а назначение его директором новейшей, наисовременнейшей Степной обсерватории было даже научными его недоброжелателями воспринято как естественный и единственно правильный акт.

Однако руку ему это не вылечило, и хромать он не перестал. Еще какие-то недуги глодали его, он быстро терял здоровье, и когда Агасфер Лукич сделал ему свое обычное предложение, мой бедный Карл не задумался ни на минуту. Фантастические перспективы ослепили его. Обычная жесткая его логика изменила ему. Впервые в жизни не сработал скепсис, давно уже ставший его второй натурой. Впервые в жизни пустился он в азартную игру без расчета – и проиграл.

Мне еще повезло увидеть его в конце того лета, крепкого, сильного, бронзово-загорелого, ловкого и точного в движениях – совершенно преображенного, но уже невеселого. Он только что вернулся из Ялты, где и состоялось с ним это волшебное преображение, где он впервые вкусил от радостей абсолютного здоровья. И где он впервые почуял неладное, когда ему наскучило гонять в пинг-понг с хорошенькими курортницами и он присел как-то вечерком у себя в номере рассчитать простенькую модель… Строго говоря, я ведь не знаю толком, что с ним произошло. Агасфер Лукич клялся мне, что зловещий портфель здесь совершенно ни при чем, что это просто лопнули от перенапряжения некие таинственные жилы, сплетав-

шие воедино телесное и интеллектуальное в организме моего бедного Карла… Может быть, может быть. Может быть, и вправду сумма физического и интеллектуального в человеке есть величина постоянная, и ежели где чего прибавится, то тут же соответственно другого и убывает. Вполне возможно. И все-таки мне иногда кажется, что лукавит Агасфер Лукич, что не обошлось здесь без его портфеля, и в раскаленной топке исчезла не только «особая нематериальная сущность» Карла моего Гаврилыча (как названо это в «Словаре атеиста»), но и его «активное движущее начало» (как это названо там же). В конце памятного августа Карл был просто машиной для подписывания бумаг. Я думаю, сейчас он уже спился.

Должен признаться, однако, что в те поры мне было не до него. Собственные проблемы одолевали и угнетали меня, как мучительная хроническая болезнь. Я все придумывал, как бы мне избежать этого самого стыдного пункта моего повествования, но вижу теперь, что совсем избежать его мне не удастся. Постараюсь, по крайней мере, быть кратким.

В конце концов, если подумать, мне нечего стыдиться. Как бы там ни было, а честь открытия Юго-Западного Шлейфа принадлежит все-таки мне, и одиннадцать шаровых скоплений, которые я обнаружил в Шлейфе, были предсказаны мною заранее – я предсказал, что их должно быть десять-пятнадцать. Этого у меня никто не отнимет, да и не собирается отнимать. И докторская диссертация моя, даже если вынуть из нее главу относительно «звездных кладбищ», все равно останется работой неординарной и вполне достойной соответствующей ученой степени. Другое дело, что претендовал-то я на большее!

Теперь я вижу, что поторопился, надо было выждать. Не надо было писать этой статьи в «Астрономический журнал», и уж вовсе не надо было посылать заносчивое письмо в «Астрономикл лэттэрз». Гордость фрайера сгубила. Очень захотелось быть блестящим, вот что я вам скажу. До смерти надоело числиться вдумчивым и осторожным ученым. Ладно, господь с ним…

Когда Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, пошли публиковать – кто в «Астрофизикл джорнэл», кто в «Ройял обзерватори бюллэтенз», – что эффект «звездных кладбищ» обнаружить им, видите ли, не удалось, это было еще полбеды. Все наблюдения шли на пределе точности, и отрицательный результат сам по себе еще ничего не значил. Но вот когда Сеня Бирюлин рассчитал, как «эффект кладбищ» должен выглядеть на миллиметровых волнах, сам отнаблюдал, ничего на миллиметровых волнах не обнаружил и с некоторым недоумением сообщил об этом на июльском ленинградском симпозиуме, – вот тут я почувствовал себя на сковородке.

Я заново проверил все свои расчеты. Ошибок, слава богу, не было. Но обнаружилось одно место… этакий логический скачочек… К черту, к черту, не хочу сейчас об этом писать. Даже вспоминать отвратительно, какой ледяной холод я вдруг ощутил в кишках в тот момент, когда понял, что мог ведь и просчитаться… Не просчитался, нет, пока еще никто не вправе кинуть в меня камень, но видно уже, что стальная цепь логики моей содержит одно звено не металлическое, а так, бублик с маком. (Стыдно признаться, а ведь я за это звено так до сих пор и не решился потянуть как следует. Не могу заставить себя. Трусоват.)

Тогда, в августе, я даже думать на эту тему боялся. Мне только хотелось, как страусу, зажмурить глаза, сунуть голову под подушку – и будь что будет. Разоблачайте. Драконьте. Топчите. Жалейте.

Ведь что более всего срамно? Ведь не то, что ошибся, наврал, напахал, желаемое принял за сущее. Это все дело житейское, без этого науки не бывает. Другое срамно – что занесся. Что дырки в лацканах стал проверчивать для золотых медалей, перестал с окружающими разговаривать, принялся вещать. Публично же сожалел (в нетрезвом виде, правда), что по статусу не полагается Нобелевской премии за астрономические открытия! Аспирантика этого несчастного задробил… как бишь его… вот уж и фамилии не помню… А ведь вполне может быть, что он в своей работенке – детской работенке, зеленой – вполне справедливо меня поддел. Это

тогда, сгоряча, я, кроме глупости да неумелости, ничего в его статейке не углядел, а он как раз, может быть, и ухватился за этот мой бублик с маком, и был это мне первый звоночек, так сказать…

Пути назад у меня были отрезаны, вот что меня губило. Слишком много было наболтано, нахвастано, наобещано, не мог я уже выйти перед всеми и сказать: «Пардон. Обосрался». И оставалось мне только одно: ждать и надеяться, что обойдется, что не обгадился я на самом деле, что вот запустят американцы «Эол», и в рентгене все получится по-моему…

Я докатился тогда до состояния такого ничтожества, что не мог даже заставить себя сесть и трезво, холодно просчитать все слабые места заново: да – да, нет – нет. Куда там! Всех моих душевных сил хватало лишь на то, чтобы лежать на кровати навзничь, заложивши руки под голову. И ждать, пока Сеня перепроверит свои наблюдения на «Луче» или американцы запустят «Эол».

Собственно, именно в таком состоянии у людей и рождаются сумасшедшие, бредовые, фантастические идеи. Только обычно идеи эти перегорают, не оставивши по себе даже копоти, а у меня под боком оказался Агасфер Лукич.

Агасфера Лукича я определил бы как человека широко, но мелко образованного. Обо всем он знает понемногу, но самое замечательное в нем – его понятливость. Понятлив и догадлив, вот как бы следовало его определить. Что такое шаровое скопление – он не знал, не приходилось ему о таком ранее слышать, но стоило объяснить, и он тут же, ухвативши суть, поинтересовался, не искали ли чего-либо необычного в центре этих гигантских звездных колобков, а если искали, то что именно, и нашли ли. Со «звездными кладбищами» оказалось посложнее, все-таки это вещь сугубо специальная, тут он так и остался в некотором недоумении, однако сразу же заметил, что для нашего дела это его недопонимание существенной роли играть не может. Очень быстро схватил он также и самую суть моих неприятностей. Причем, надо отдать ему справедливость, проявил большую деликатность и тонкость чувств, – он напомнил мне чрезвычайно опытного хирурга, умело и деликатно орудующего ножом вокруг самых больных мест, но нимало их не тревожащего.

С деловитостью врача он предложил мне на выбор два апробированных пути излечения моей хвори. Я отвергнул их немедленно, почти без размышлений. Я не слишком высокого мнения о своей личности (особенно в свете происходящего), но и менять ее вот так, за здорово живешь, при первой же серьезной неприятности я не собирался. И вовсе не собирался я ради собственных амбиций водить за нос (всю жизнь!) такое количество ни в чем не повинных и, как правило, вполне симпатичных людей.

Тогда Агасфер Лукич взял у меня ночь на размышление и утром выдал мне третий путь.

Едва он заговорил, я даже вздрогнул: мне показалось, что он угадал мою собственную бредовую идею. Оказалось, однако, нет, не угадал, хотя и его идея была вполне достаточно бредовой. Он предложил организовать сравнительно небольшие изменения в распределении материи в нашей Галактике с тем, чтобы в обозримом будущем (10^{12}–10^{13} секунд) мою гипотезу нельзя было бы ни опровергнуть, ни подтвердить. Речь шла о подвижках в пространстве сравнительно незначительных масс темной материи и о внеплановом взрыве двух-трех сверхновых, способных существенно исказить наблюдаемую картину в моем Юго-Западном Шлейфе. Главная трудность здесь заключалась в том, что эта работа космологических временны́х и пространственных масштабов должна была сопровождаться мелкими, но чрезвычайно кропотливыми и скрупулезными подчистками в ныне существующих архивах наблюдательной астрономии. Я не совсем понял – зачем, но требовалось непременно создать впечатление, будто новая наблюдаемая картина имела место всегда, а не появилась только что, на глазах изумленных наблюдателей. Этот путь я даже не стал критиковать. Я просто предложил Агасферу Лукичу свой.

Сначала он не понял меня. Потом задумался глубоко. Впервые в жизни я тогда увидел, как изо рта у Агасфера Лукича идет зеленоватый дым, – зрелище по первому разу жутковатое. Потом он встрепенулся от задумчивости и посмотрел на меня с каким-то странным выражением.

Действительно, ведь моя гипотеза «звездных кладбищ» не нарушала ни одного из фундаментальных законов физики. Она могла быть ложной, она могла быть истинной, но она никак не могла быть названа невозможной. Природа вполне могла быть устроена таким образом, чтобы «звездные кладбища» существовали в реальности. И если оказывается, что она устроена не так, то почему бы не вмешаться, буде есть на то желание и соответствующие возможности. Пусть это будет сравнительно редкое явление, я вовсе не настаивал на его метагалактической распространенности. В конце концов, возьмите фуоры. Во всей Галактике их обнаружено несколько штук. Редкость. Особое сочетание физических условий. Вот и с моими «кладбищами» пусть будет так же. Только пусть они будут (если их нет). А все свои расчеты я готов предоставить по первому требованию.

Дико и нелепо устроен человек. Ну, казалось бы, чем мне тут гордиться? А я горжусь. Удалось мне озадачить Агасфера Лукича. Забегал он у меня, засуетился, заметался. Признался, что такое ему не по плечу, но обещал в ближайшее же время навести справки.

Вот так, на трагикомическом уровне, определилась нынешняя судьба моя. И теперь сижу я на шершавом испачканном топчане, за окном постоянный ноябрь, белые мухи, в комнате жарко, хотя батареи еще не продуты, – пишу эти записки, не адресуя их никому, трепетно жду, когда ударят в космическом мраке Кабинета шаги моей сегодняшней судьбы.

Вот сейчас вспомнилось ни с того ни с сего. Гриня повадился каждый день разменивать в столовой новехонькую трешку и, как стало широко известно, записался в месткоме на «семерку-жигули»… Следователь районной прокуратуры, который допрашивал меня, деликатно, но весьма настойчиво добивался, не замечал ли я в последнее время каких-либо перемен в характере, поведении и образе жизни гражданина Быкина Г. Г. Меня и самого интересовал этот вопрос. Мне и самому было болезненно интересно узнать, что же происходит в конечном итоге с людьми, «ставшими жертвами жульнических махинаций гражданина Прудкова А. Л., выдававшего себя за сотрудника системы Государственного страхования». Так что я ничем не мог помочь товарищу следователю, я только честно признался ему, что сам жертвой упомянутых махинаций не стал. По-моему, он мне не поверил. Во всяком случае, прощаясь, он с довольно неприятным видом пообещал, что мы еще встретимся.

Но мы, конечно, никогда больше не встретимся.

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном…

Дневник. 14 июля

Вчера ничего не записывал, потому что весь день работал в 4-й детской. По-прежнему самое мучительное и невыносимое для меня – ассистировать при операциях. Поэтому вызвался на все шесть и четыре благополучно проассистировал, а перед пятой Борисыч прогнал меня в палаты носить горшки и приходить в себя.

В лицей вернулся в начале десятого без задних ног и сразу завалился. Думал, просплю до утра. Фигушки. В два часа ночи приперся Михей, распираемый впечатлениями. Он, оказывается, ходил с Пашкой и Иришкой слушать этого пресловутого Вегу Джихангира. Они от него в рептильном восторге. Набрался полный стадион народу. Джихангир ревет. Синтезаторы ревут. Народ ревет. Прожектора. Синхролайтинги. Петарды рвутся. И так четыре часа подряд. Потом взвалили себе на плечи своего Джихангира и понесли в гостиницу через весь город.

Ни одной Джихангировой песни Мишель, конечно, не запомнил, но зато на обратном пути университетские студиозусы обучили его своему боевому маршу, который начинается так:

Рехо, рехо, рехо-хо-хо-хо-хо!
Ага-него, ням-ням-ням-ням,
Первички ня-а-ам!
А ну-ка демо! А шервервумба!
А шервервумба, вумба-вумба,
цум-бай-квеле,
тольминдадо,
Цум-бай-квеле, цум-бай-ква…

И так далее. О, эти ташлинские титаны духа! Мишель никак не мог остановиться, я не выдержал и все-таки заснул. В результате утром проспал.

До обеда прилежно писал отчет-экзамен.

Доброта и милосердие. Разумеется, понятия эти пересекаются, это ясно. Но есть какое-то различие. Может быть, в отношении к понятию «активность»? Доброта больше милосердия, но милосердие глубже. И милосердие, в отличие от доброты, всегда активно. Литература по этой теме огромна и бесполезна. Если выпарить это море слов, останется чайная ложка соли. Воробьиная погадка. Надо бы спросить Г. А.: почему наиболее интуитивно ясные понятия более всех прочих оболтаны за истекшие двадцать веков? (ПРИПИСКА 16 июля. Г. А. сказал: потому что интуиция – в подкорке, а понятие – в коре. Непонятно. Надлежит обдумать.)

После обеда Г. А. послал меня в библиотеку читать последний выпуск «Логики…». В чем дело? Оказывается, он недоволен, как идут у меня по логике Санька Ежик и Сева Кривцов. Здрасьте вам! А я-то был уверен всегда, что они у меня идут на десять баллов. Я человек скромный и себя хвалить не терплю, но если у меня что хорошо, то хорошо. Оказывается, нет. Нехорошо у меня. Мы с ним поспорили. Я слово, он два. Ладно. Пошел в библиотеку, поднял «Логику…» за последний год. Все-таки Г. А. – бог. Сам он всегда убеждает нас, что главное – не знать, а понимать. Но ведь он-то вдобавок и ЗНАЕТ! Все знает! И бес, посрамлен бе, плакаси горько[17].

В «Молодежных новостях» сообщение про вчерашний концерт Джихангира: «Встреча с новой песней». С подъемом описывается радость, испытанная городскими любителями синхрозонга, от встречи с популярнейшим и любимейшим Марко да-Вегой. Новые тексты… новая манера… совершенно новое сопровождение… «К сожалению, конец этой волнующей встречи был омрачен хулиганскими выходками наиболее незрелой части слушателей. Кто бы ни был

инициатором этих выходок – заезжие “дикобразы”, местные фловеры или просто загулявшие студенты, – прощения и оправдания им быть не может. Мы уверены, что милиция с помощью общественности в ближайшее же время установит и строго накажет распоясавшихся хулиганов».

В «Городских известиях» колонка под названием: «Ночной пандемониум[18]». Никакого праздника синхрозонга на стадионе не было. Был омерзительный шабаш. Четырехтысячная толпа, состоящая главным образом из так называемых фловеров, устроила отвратительное побоище, сопровождавшееся актами вандализма. Стадиону нанесен значительный ущерб. Изуродовано несколько автомашин. В окрестных постройках не осталось ни одного целого стекла. Несколько десятков искалеченных хулиганов доставлены в больницы. Несколько десятков задержаны. Органы милиции ведут расследование. Газета не раз выступала против приглашений в наш город этих так называемых «властителей дум». Нынешний ночной пандемониум – лишнее, хотя и печальное, доказательство ее правоты.

Иришка с Мигелем утверждают, что ничего подобного не было. Все было очень громко, но вполне мирно.

Кому верить?

На сон грядущий пошли поболтать с Г. А. Серафима Петровна подала пирог-плетенку с абрикосовым вареньем. Сначала болтали о том о сем, а потом вдруг выяснилось, что разговор идет о преступности. (Ни минуты не сомневаюсь, что на эту тему повернул нас Г. А. Но в какой момент? Каким образом? И почему я опять этот поворот прозевал?)

Я считаю, что в наше время существуют три главных фактора, которые в сочетании делают человека преступником. Во-первых, система воспитания не сумела выявить у него направляющего таланта. Человек оставлен вариться в собственном соку. Во-вторых, он должен быть генетически предрасположен к авантюре: риск порождает в нем положительные эмоции. В-третьих, духовная нищета: духовные запросы подавлены материальными претензиями. Вокруг полно прекрасных вещей: автомобили, птеры, роскошные девочки, жратва, наркотики в конце концов. Зарабатывать все это невыносимо скучно и тяжко, потому что любимой работы у него нет. Но очень хочется. И он начинает брать то, что по существующему праву ему не принадлежит, рискуя свободой, жизнью, человеческими условиями существования, причем делает это не без удовольствия, а может быть, и с наслаждением, потому что риск у него – в генах.

Конечно, это самая грубая схема, не учитывающая никаких нюансов, да и великого множества разнообразных социальных и личных обстоятельств. Однако основную массу насильственных преступлений такая схема, по-моему, объясняет.

Аскольд: существует ли талант к преступлению? В конце концов, разработка и исполнение преступного замысла – это в самом широком смысле слова игра, требующая незаурядных творческих способностей, своеобразных эстетических данных и психологической проницательности.

Возможно, не спорю. Наше дело – устроить так, чтобы ему было интереснее играть в любую другую игру, но не в эту. А если общество не в состоянии предложить ему ничего, кроме как есть хлеб свой в поте кислой физиономии своей[19], то немудрено, что он предпочитает играть в казаки-разбойники и норовит ходить по краю. Вот если бы мы умели с младых ногтей привить ему человечность и милосердие, это было бы самой надежной прививкой и против бездуховности, и против тяги к преступному риску. Да что толку говорить об этом, если мы все равно этого не умеем делать сейчас так же, как тысячу лет назад!

«Пересадить свою доброту в душу ребенка – это операция столь же редкая, как сто лет назад пересадка сердца».

Г. А. сказал как бы между прочим: закон никогда не наказывает ПРЕСТУПНИКА. Наказанию подвергается всего лишь тварь дрожащая[20] – жалкая, перепуганная, раскаивающаяся, нисколько не похожая на того наглого, жестокого, безжалостного мерзавца, который творил

насилие много дней назад (и готов будет творить насилие впоследствии, если ему приведется уйти от возмездия). Что же получается? Преступник как бы ненаказуем. Он либо уже не тот, либо еще не тот, кого следует судить и наказывать… Слава богу, что хоть смертная казнь у нас отменена!

Рукопись «03» (5–9)

5. Этот был рослый, выше меня на голову, в длинном кожаном пальто. Войдя, он снял огромную меховую шапку и, пригладив прическу ладонью, проговорил негромко:

– Колпаков. Мне назначено на семнадцать.

Он отряхнул шапку от мокрого снега, положил ее на столик под зеркалом, снял пальто («Благодарю вас, я сам…») и аккуратно, любовно повесил его на распялку.

Мы прошли в Приемную. Он шагал широко, бесшумно, на каждом шаге слегка подаваясь по-куриному туловищем вперед, и непрерывно мыл ладони воздухом. В Приемной он бегло, но цепко огляделся, как бы приценяваясь к обстановке, а когда я предложил ему кресло, он сел с видом человека, готового долго и терпеливо ждать. Если он и волновался, то волнение свое умело скрывал. Он даже ладони перестал умывать.

Я сел на свое место и сказал:

– Можете говорить.

Он снова огляделся, теперь уже с некоторым недоумением, но быстро сориентировался (он, видимо, вообще умел быстро ориентироваться) и заговорил. Я смотрел, как он говорит, и мне почему-то вспомнилось, что Юрий Павлович Герман называл таких людей «красивый, но вьялый». Такой рослый, такой благообразный, такой русый, и широкие плечи, и кровь с молоком, и глаза вполне стальные, а в то же время – какая-то бледная немочь во всем: движения плавно-замедленные, голос тихий, интонации умеренные. Умеренность – его лозунг. Умеренность и аккуратность[21].

Говорил он в пространство перед собой. (Как, откуда узнал он, что не я его собеседник, а ведь, кроме меня, в Приемной никого не было!..) Говорил, словно на докладе у начальства, – на память, не сбиваясь, но и не увлекаясь чрезмерно, только время от времени, в особенности, когда шли цифры, поглядывая в шпаргалочку, оказавшуюся незаметно у него в ладони. И хотя не предпосылал он своему докладу никакого названия, после первых же двух-трех периодов стало ясно, что речь идет о «Необходимых организационных и кадровых мероприятиях для подготовки и проведения кампании по Страшному Суду».

Говорил он по моему секундомеру почти десять минут – восемнадцати секунд не хватило для ровного счета. Закончив, осторожно положил свою шпаргалочку на полированную поверхность трюмо рядом с пепельницей и смирно свел пальцы больших белых рук у себя на коленях.

Демиург молчал целую минуту, прежде чем задал первый свой вопрос.

– Надо понимать, Зверь из моря[22] – это лично вы? – спросил он.

Колпаков заметно вздрогнул, но отозвался тотчас же, без малейшего промедления:

– Возражений не имею.

Демиург вдруг очень красиво процитировал – нарочито бархатным, раскатистым голосом профессионального актера старой школы:

– «Зверь был подобен барсу: ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва; и дал ему Дракон силу свою, и престол свой, и великую власть…»[23] Дракон, надо понимать, – это я?

Колпаков позволил себе бледно усмехнуться.

– Не могу согласиться, извините. В данном штатном расписании это уж скорее товарищ Прудков. Агасфер Лукич.

Полная тишина была ему ответом, и усмешка пропала с бледного лица, и оно стало еще бледнее. Потом Демиург заговорил снова:

– «…И поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца»[24]. У вас губа не дура, Колпаков.

– В некоторых переводах стоит: «сорок два года», – чуть повысив голос, возразил Колпаков.

– И вы, разумеется, предпочитаете именно эти переводы. Да, губа у вас не дура. И как же вы намерены развязать Третью и последнюю? Конкретно!

– Мне кажется, один случайный запуск… одно случайное неудачное попадание… Мне кажется, этого уже достаточно было бы…

– Во-первых, недостаточно! – загремел Демиург. – Во-вторых, если вы даже сумеете организовать бойню, понимаете ли вы, чем она кончится? Послушайте, вас вообще-то учили, что через шесть месяцев погибнет от девяноста пяти до девяноста восьми процентов всего населения? Вы перед кем, собственно, намерены «гордо и богохульно» говорить на протяжении сорока двух месяцев… я уж не скажу – лет?

На физиономии Колпакова не осталось ни кровинки, однако он и не думал сдаваться.

– Прошу прощения, – произнес он с напором, – но ведь у меня и намерения такого не было – конкретизировать начало хаоса. Мне казалось всегда, что это как раз – на ваше усмотрение! И железная саранча Аваддона… и конные ангелы-умертвители… и звезда Полынь…[25] Вообще весь комплекс дестабилизирующих мероприятий… Я как раз не беру на себя ответственность за оптимальный выбор…

– Он не берет на себя ответственность, – грянул Демиург. – Да ведь это же главное, неужели не ясно – оптимальный выбор! Максимум выживания козлищ при минимуме агнцев!

– Позвольте же заметить! – не сдавался Колпаков. – Был бы хаос, а все остальное я беру на себя, у меня агнцев вообще не останется, ни одного! Что же касается организации хаоса… Согласитесь, это совсем вне моей компетенции!

– Так уж и вне… – произнес Демиург саркастически. – Вон чего вокруг насочиняли… Кстати, а что такое в вашем понимании агнцы?

И опять не дрогнул Колпаков. И опять он ответил как по писаному:

– Насколько мне доступно понимание высших целей, это сеятели. Сейте разумное, доброе, вечное[26]. Это про них сказано, как я понимаю.

– Ясно, – произнес Демиург. – Можете идти. Сергей Корнеевич, проводите.

Я встал. Колпаков все еще сидел. Красные пятна разгорались у него на щеках. Он разлепил было губы, но Демиург сейчас же сказал, повысив голос:

– Проводить! Пальто не подавать!

И поднялся бедный Колпаков, и пошел, понурившись, в прихожую, и снял с распялки роскошный свой черный кожан, и принялся слепо проталкивать руки в рукава, и мужественная челюсть его тряслась, а вокруг реял невесть откуда взявшийся Агасфер Лукич с портфелем на изготовку и говорил как заведенный – ворковал, курлыкал, болботал:

– Не огорчайтесь, батенька, ничего страшного, не вы первый, не вы последний, откуда нам с вами знать, может, оно и к лучшему… Сорок два года все-таки, – такой труд, такая работа, напряжение адское, ни минуты отдыха, никакой расслабленности… Да господь с ними, с этими глобальными мероприятиями!.. Ведь пришлось бы руку поднять на отечество свое, на все человечество! Стоит ли? Не лучше ли подумать прежде всего о себе, что вам лично нужно? Так сказать, персонально… в рамках существующей действительности… не затрагивая никаких основ… Скажем, заведующий отделом, а? Для начала, а?

Они вывалились из квартиры, Агасфер Лукич вел Колпакова, обнимая его ниже талии, и, заглядывая ему в лицо снизу вверх, все ворковал, все болботал, все курлыкал. Я слышал, как они медленно спускаются по лестнице. Колпаков, видимо, опомнясь, принялся что-то отвечать высоким обиженным голосом, но слов уже было разобрать невозможно из-за лестничной реверберации.

Я запер дверь, вернулся в Приемную, поправил сдвинутое кресло, взял с трюмо забытую шпаргалку и попытался было ее прочитать, но ничего там не разобрал, кроме каких-то бессмысленных «убл», «опр», «II сзд».

Я прошел в Комнату и уселся на топчан в ожидании приказаний. Приказаний не было, не было и обычных ворчливых комментариев. Черная крылатая глыба у окна была нема и неподвижна, как монумент Отвращению. Потом вернулся Агасфер Лукич, запыхавшийся от подъема на двенадцатый этаж и очень недовольный. Швырнув портфель в угол, он уселся рядом со мной и сказал:

– Это тот случай, когда я не испытываю никакого удовлетворения. Фактически я его обманул. Не нужны ему те мелочи, дребедень эта, которую я ему всучил… Ему Великое служение нужно! Он создан для служения! Чтобы всех, кто под ним, – в грязь, но и сам уж перед вышестоящим – в пыль… А я ему – дачу в Песках…

Демиург произнес, не оборачиваясь:

– Все они хирурги или костоправы. Нет из них ни одного терапевта[27].

По-моему, это тоже была цитата, но я не сумел вспомнить – откуда и, наверное, поэтому не понял, что он хотел сказать.

6. Разговоры об истории. О новой истории, о новейшей истории и особенно часто – об истории древней. Агасфер Лукич из истории знает всё. Есть у него один-два пробела (например, Центральная Америка, шестой век, – «тут я несколько поверхностен…»), но в остальном он совершенно осведомлен, захватывающе многоглаголен и нарочито парадоксален. «Не так все это было, – любит приговаривать он. – Совсем не так».

Иуда. Да, был среди них такой. Жалкий сопляк, мальчишка, дрисливый гусенок. Какое предательство?! Перестаньте повторять сплетни. Он просто делал то, что ему велели, вот и все. Он вообще был слабоумный, если хотите знать…

«Не мир принес я вам, но меч»[28]. Не говорилось этого. «Не мир принес я вам, но меч… ту о мире», – это больше похоже на истину, так сказано быть могло. Да, конечно, по-арамейски подобная игра слогов невозможна. Но ведь по-арамейски и сказано было не так. «Не сытое чрево обещаю я вам, но вечный голод духа». Причем так это звучит в записи человека явно интеллигентного. А на самом деле вряд ли Учитель рискнул бы обращаться с такими словами к толпам голодных, рваных и униженных людей. Это было бы просто бестактно…

Конечно же Он все знал заранее. Не предчувствовал, не ясновидел, а просто знал. Он же сам все это организовал. Вынужден был организовать.

«Осанна». Какая могла быть там «осанна», когда на носу Пасха, и в город понаехало десять тысяч проповедников, и каждый проповедует свое. Чистый Гайд-парк! Никто никого не слушает, шум, карманники, шлюхи, стража сбилась с ног… Какая могла быть там проповедь добра и мира, когда все зубами готовы были рвать оккупантов и если кого и слушали вообще, то разве что антиримских агитаторов. Иначе для чего бы Он, по-вашему, решился на крест? Это же был для Него единственный шанс высказаться так, чтобы Его услышали многие! Странный поступок и страшный поступок, не спорю. Но не оставалось Ему иной трибуны, кроме креста. Хоть из обыкновенного любопытства должны же были они собраться, хотя бы для того, чтобы просто поглазеть, – и Он сказал бы им, как надо жить дальше. Не получилось. Не собралось почти народу, да и потом невозможно это, оказывается, – проповедовать с креста. Потому что больно. Невыносимо больно. Неописуемо.

7…Я был в полном отчаянии. Видимо, начиналась уже истерика. Я собою не владел. Не помню, как я оказался на лестничной площадке. В ушах гудело – то ли бешеная кровь накручивала спирали в помраченном мозгу моем, то ли перекатывалось в лестничных пролетах эхо от удара двери, которую я изо всех сил за собой захлопнул.

Весь трясясь, но уже в себе, я спустился на этаж ниже и присел на калорифер. Ледяное железо резало зад, но не было сил стоять, и даже не в силах дело – в голову мне не приходило встать на ноги. Я весь сосредоточился на процессе закуривания. Шарил по карманам, ища мундштук. Долго извлекал сигарету из пачки прыгающими пальцами, сломал две, прежде чем вставил в мундштук третью. Потом принялся ломать спички одну за другой, но закурить в конце концов удалось, и, едва успев сделать первую затяжку, я услышал шаги.

Кто-то поднимался по лестнице, да так быстро, с энергичным напористым ширканьем одежды, мощно, по-спортивному дыша и даже напевая что-то вместе с дыханием, что-то классическое – не то «Рассвет на Москве-реке»[29], не то «Боже, царя храни»[30]. И я подумал злобно: это же надо, какой веселый, энергичный клиент у нас пошел, наверняка с какой-нибудь особенной гадостью, с гадостью экстра-класса, с такой гадостью, чтобы уж всех вокруг затошнило, чтобы женщины плакали, сами стены блевали, и сотня негодяев ревела: «Бей! Бей!»[31]…

Он увидел меня и остановился пролетом ниже. Фигура моя здесь, на лестнице, застала его врасплох. Теперь ему надлежало немедленно принять респектабельный и, по возможности, внушительный вид, дабы сразу было ясно, что перед вами не шантрапа какая-нибудь, не горлопан из молодежного клуба, не полоумный прожектер какой-нибудь, а человек солидный, личность, со значительным прошлым, с весом, со связями, готовый предложить, отдать, пожертвовать идею, которую он глубоко продумал в тиши своего личного кабинета и отшлифовал в диспутах с людьми заслуженными, излюбленными и высокопоставленными.

Белесовато-бесцветная, квадратная физиономия его с остатками юношеского румянца на щеках, как бы присыпанных пудрой, наглые васильковые глаза с пушистыми ресницами педераста мимолетно показались мне знакомыми – где-то я видел этот приторный набор – то ли в рекламном ролике, то ли на плакате… Я не захотел вспоминать. Я слез с калорифера и, зажавши мундштук в углу рта, чувствуя, как немеют у меня от злобы челюсти, пошел спускаться ему навстречу и вдруг поймал себя на том, что на ходу судорожно похлопываю раскрытой ладонью по перилам.

Он быстро сорвал легкомысленно сдвинутую на затылок шляпу, прижал ее к груди и коротко, по-белогвардейски, дернул головой, отчего белобрысые волосы его слегка рассыпались. И уже явственно проступил на его поганой морде приличествующий джентльменский набор: солидность, печать значительного прошлого, отсвет глубоко продуманной идеи. И вот тогда я его вспомнил. Это был Марек Парасюхин по прозвищу Сючка, мы вместе кончали десятый класс, а потом он, окончивши все, что полагается, стал литсотрудником тоненького молодежного журнальчика с сомнительной репутацией, расхаживал в черной коже (не подозревая, конечно, по серости, что это форма не только эсэсовских самокатчиков, но и американских «голубеньких»), публиковал статейки, в коих тщился реабилитировать Фаддея Булгарина либо доказывал кровное родство князя Игоря и Одиссея Итакского, а в анкетах в графе «национальность» неизменно писал «великоросс». И известно мне было, что в определенных кругах на него рассчитывают.

– Ты зачем сюда приперся, скотина? – произнес я перехваченным голосом, надвигаясь на него.

Против света не видел он моего лица и узнать меня не мог, и теперь, задним числом, я понимаю, что до определенного момента он воспринимал все мои слова и действия как своего рода проверку, искус своего рода. Он приятно осклабился и ответил:

– Явился по вызову. Моя фамилия Парасюхин, честь имею.

– Сука ты, дрянь поганая, – произнес я, с наслаждением беря его за манишку.

Улыбка его несколько побледнела, но он продолжал рапортовать:

– Готов к докладу. Имею проект, предварительно одобренный…

– Какой еще проект? – просипел я, наматывая его манишку на кулак. Глаза у меня застилало. Отвратительное чувство априорной безнаказанности владело мною. Ведь вся эта погань

испытывает наслаждение, не только издеваясь над теми, кто попал ей в лапы, она же наслаждается и собственными своими унижениями в лапах того, кого считает выше себя.

Парасюхин только пискнул: «Однако же… Позвольте…» – и тут же продолжал:

– Имею проект полного и окончательного решения национального вопроса в пределах Великой России. Учитывая угрожающее размножение инородцев… учитывая, что великоросс не составляет уже более абсолютного большинства… На новейшем уровне культуры и технологии… Без лишней жестокости, не характерной для широкой русской души, но и без послаблений, вытекающих из того же замечательного русского свойства… Право же… мне немножко дышать… неудобно… Особое внимание уделяется проблеме еврейского племени. Не повторять ошибок святого Адольфа! Никаких «нутциге юде»…

Я врезал ему левой между глаз, да так, что сразу отшиб себе все косточки в кулаке. Руку мне пробило болью до самого плеча. Он болезненно охнул и замолчал. Мы раскачивались на площадке, лицо в лицо, тяжело дыша, как борцы на ковре. Я тянул его правой рукой за манишку к себе (совершенно непонятно – зачем, мерзко подумать, что целился я вцепиться зубами ему в нос), левая рука моя висела плетью, она хотела бить, но не могла, а он слабо упирался, из расквашенного носа у него текло, одичавшие глаза разъезжались. Но он нашел в себе силы снова изобразить улыбку и продолжить:

– Полуостров Таймыр переименовать в Новую Галилею… Или Галилею Ледовитую… Район, давно уже требующий решительного освоения… и никому не будут мозолить глаза… Третья мировая уже идет… сионизм против всего мира…

Я швырнул его по лестнице вниз и бросился следом. Я гнал его уцелевшим кулаком и пинками пролет за пролетом, а он все не понимал, все пытался оправдаться, лицо его было разбито в кровь, ни единой пуговицы не осталось на пальто, шляпа пропала. Но каждый раз, оторвавшись от меня на расстояние вытянутой ноги, он хватался за перила, истово выкатывал глаза и визжал свое:

– Язву смешанных браков – каленым железом… Поздно будет… И особенно подчеркиваю, что надвигается время армянского вопроса… Пора это уже понять… Армян – в Армению!.. Поздно же будет, россы!..

И вдруг на каком-то этаже он меня узнал. Он завизжал, как женщина, и огромным прыжком оторвался от меня на целый пролет. А у меня уже и сил не было. Я сел на ступеньки и, кажется, заплакал – от боли в руке, от тоски, от безнадежности.

Он стоял на площадке пролетом ниже, расхлюстанный, весь в черных пятнах, судорожно раскорячив руки и оскалив окровавленные зубы, глядел на меня снизу вверх и повторял, не находя слов:

– А ты… А ты… А ты…

И я глядел на него сверху вниз и с отчаянием думал, что вот опять я ничего не могу, даже сейчас, когда всего-то и надо, что раздавить мерзкую поганку, когда, казалось бы, все в моих руках, только от меня и зависит, и никто мне помешать не успеет, не посмеет мне никто помешать, но – не могу. Слаб, заморочен, скован, сам себя повязал по рукам и ногам взаимоисключающими принципами… «Раздави гадину…»[32] – «Не убий…»[33]. «Если враг не сдается…»[34] – «Человек человеку – друг…»[35]. «Человек по натуре добр…» – «Дурную траву с поля вон…». И ведь подумать только, который месяц уже нахожусь я у источника величайшего могущества, давным-давно смог бы устроить свою судьбу, и не только свою, и не только своих близких – судьбы мира мог бы попытаться устроить! И ведь ничего…

И тут он, Сючка поганая, непотребная, нашел наконец нужные слова и прошипел радостно:

– То-то жена у тебя полупархатая! Прихвостень жидовский…

Я кинулся на него сверху. Убить. Наверное. Я еще успел увидеть вскинутую руку его, и сразу же, одновременно, – лиловая вспышка, треск выстрела и страшный удар в голову.

Теперь мне кажется, что я тогда нисколько не удивился. Мне и в голову не приходило, что такая тля, как Парасюхин, может быть вооружена. Но когда он выстрелил, это меня нисколько не удивило.

Очнулся я на своем рабочем месте. Раскрытый бювар. Набор шариковых ручек. Календарь. Шестнадцатое ноября. Толстый красный фломастер и тонкий черный. Все было готово к работе.

Клиент, правда, к работе готов еще не был. Он ворочался в своем кресле, хлюпал носом, болезненно тянул воздух сквозь зубы и промакивал лицо мокрым испачканным платком. Никаких тезисов на столе перед ним не усматривалось – то ли не успел он их еще вынуть, то ли знал свое дело наизусть.

Голова моя, в особенности с правой стороны, разламывалась от боли, и, поднеся осторожную руку к виску, я обнаружил, что обмотан толстым слоем бинта – вокруг всей головы и вокруг шеи.

Голос Демиурга грянул:

– Кстати, откуда у вас пистолет?

Клиент с достоинством продекламировал:

– Всякая истинная идея должна уметь защитить себя. Иначе грош ей цена[36].

И с шумом потянул в себя кровавые сопли.

Телефон квакнул над моей многострадальной головой. Я снял трубку.

– Я поздравляю вас, Сергей Корнеевич, – сказал Демиург. – Вы получили контузию у меня на службе. Вы должны знать, что это вам зачтется. Однако в дальнейшем я попрошу вас обходиться без рукоприкладства. Я же ведь – обхожусь!

– Да, – сказал я.

– А теперь распорядитесь, – сказал Демиург, – чтобы клиент приступал. И чтобы покороче.

Я повесил трубку и сказал клиенту:

– Приступайте, пожалуйста. И постарайтесь быть кратким.

8. Рассказывают, что, когда товарищу Сталину демонстрировали только что отснятый фильм «Незабываемый 1919-й»[37], атмосфера в просмотровом зале с каждой минутой становилась все более напряженной. На экране товарищ Сталин неторопливо переходил из одной исторической ситуации в другую, одаряя революцию единственно верными решениями, и тут же суетился Владимир Ильич, то и дело озабоченно произносящий: «По этому поводу вам надо посоветоваться с товарищем Сталиным», – все было путем, но лицо Вождя, сидевшего по обыкновению в заднем ряду с погашенной трубкой, порождало у присутствующих все более тревожные предчувствия. И когда фильм окончился, товарищ Сталин с трудом поднялся и, ни на кого не глядя, произнес с напором: «Нэ так всо это было. Савсэм нэ так».

Фильм, впрочем, прошел по экранам страны с обычным успехом и получил все полагающиеся премии.

9. Так вот: не так все это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и…

Дневник. 16 июля

Сегодня утром, когда я возвращался из столовой, в большом коридоре на меня с разбегу налетел какой-то юнец, по виду – типичный куст, – весь в зеленом и пятнистом, босой, и полна голова репьев. Налетел он на меня с такой силой, что репьи посыпались во все стороны, и стал выпытывать, где ему найти Г. А. Сначала я не хотел его осведомлять, потому что знал, что Г. А. сейчас сидит у себя в кабинете и проверяет наши тест-программы. Но куст шумел, трепыхался, размахивал ветвями и чуть не плакал. Правая щека у него была заметно больше и румянее левой, мне стало его жалко, и я на нем сосредоточился. Ничего не удалось мне разобрать в его потемках, кроме бурлящего там беспокойства, граничащего с отчаянием, и я отвел его к Г. А.

Я уже забыл об этом происшествии, как вдруг Г. А. зашел ко мне и произнес обычное: «Пойдемте со мною, Князь».

Лицо Г. А. ничего не выражало, кроме обычной благожелательности. Пока мы шли по бульвару, он не уставал раскланиваться со всеми встречными и поперечными и раз даже остановился поболтать с какой-то раскрашенной старухой лет пятидесяти, но я-то чувствовал (даже не сосредоточиваясь), что он озабочен, причем озабочен сильно, гораздо сильнее обычного. И тогда я вспомнил о том кусте и спросил Г. А., чего ему было надо. Г. А. ответил, что я скоро сам все пойму, и мы вошли в горисполком.

Мы прошли прямо в кабинет к мэру, нас, видимо, ждали, потому что секретарша без лишних слов тут же распахнула перед Г. А. дверь.

Мэр уже шел нам навстречу по ковровой дорожке, разнообразными жестами выражая радушие. (Мне он сказал: «Я тебя помню, ты Вася Козлов»[38]. Мы с Г. А. не стали его поправлять.) Мэр тоже был озабочен, и это тоже было видно невооруженным глазом. Они с Г. А. сели лицом друг к другу за стол, а я скромно примостился у стены. Последовавший разговор я конспектировал и привожу его довольно близко к тексту.

Мэр начал было о погоде, но Г. А. его сразу же деликатно прервал – похлопал его ладонью по руке и сказал: «До меня дошли слухи, что готовится некая акция против Флоры. Это правда?»

Мэр сразу же перестал радушно улыбаться, отвел глаза и стал мямлить в том смысле, что да, есть кое-какие соображения по этому поводу. «Я слышал, что вы намерены их прогнать», – сказал Г. А. Мэр промямлил в том смысле, что прогнать – не прогнать, а формируется такое мнение, что надо бы их попросить – и из самого города, и из-под города, и вообще. «А если они не согласятся?» – спросил Г. А. «Так в этом-то всё и дело!» – сказал мэр с горячностью.

Г. А. спросил, кто это затевает и с чего это вдруг. Мэр сказал, что по поводу этой распроклятой Флоры на него давят со всех сторон уже давно, а теперь, после этого распроклятого концерта на стадионе, все словно взбеленились. Г. А. сказал, что, по его сведениям, ничего особенного на концерте не произошло. Мэр возразил: как-никак четверо покалечены, стекол побили тысяч на пять, автобус перевернули, две легковушки помяли – в общем и целом тысяч на пятнадцать.

Г. А.: А при чем здесь Флора?

Мэр: Там было полно фловеров. Все четверо пострадавших – фловеры.

Г. А.: Там же были не только фловеры. Там были студенты, рабочая молодежь, солдаты. Там были «дикобразы».

Мэр: «Дикобразов» след простыл, а фловеры твои – тут как тут. Всем мозолят глаза и всем жить мешают.

Г. А. осведомился, кому персонально мешают жить фловеры. Выяснилось, что главный противник пригородной Флоры – завгороно Ревекка Самойловна Гинсблит. Она и сама-то рвет и мечет, а вдобавок ее подзуживают и растравливают остервеневшие родители. Флора притя-

гивает ребятишек как магнитом. Бегут из дома, бегут с занятий, бегут из спортлагерей. Жуткие манеры, жуткие моды, жуткие нравы, ничего не читают, даже телевизор не смотрят. Масса сексуальных проблем, страшные вещи происходят в этой области. И наркотики! Вот что самое страшное!

Далее – милиция. Милиция утверждает, что половина всех хулиганских проступков и три четверти мелких краж в городе, если брать два последних года, – дело рук фловеров. И вообще, Флора ежедневно и ежечасно порождает преступность. Вдобавок на милицию жмут производственники, у которых прогулы и текучесть молодежных кадров, клубники, комсомол, жилконторы, ветераны, дружинники, кооператоры, итэдэшники. Все это сидит у мэра на шее уже больше двух лет, а сейчас все словно с цепи сорвались, и он, мэр, боится, что вот-вот дойдет до насильственных действий, чего он, мэр, не терпит и терпеть не намерен. Он, если хотите знать, и в отставку может подать в такой вот ситуации, благо сессия на носу…

Г. А.: Подавать в отставку ни в коем случае нельзя. И руки заламывать тоже нельзя, в тоске и печали. Ты – мэр, ты обязан контролировать ситуацию. Ты – первый человек города, ты – лицо города. Тебя для этого выбирали. Если ты уступишь этим экстремистам, позор на всю Россию, на весь мир позор.

Мэр: Меня убеждать не надо. Ты их попробуй убеди.

Г. А.: Будь покоен. А я хочу быть спокоен, что не подведешь ты.

Мэр: Это для тебя они экстремисты, а для меня – ближайшие помощники, мне с ними работать и работать, я без них как без рук. А страшнее всего, если хочешь знать, – родители! С ними не поговоришь, как с тобой или, скажем, как с Ревеккой. На них логика не действует!

Г. А.: Ревекка тоже не сахар. Для нее, между прочим, Флора – это только предлог. Она гораздо дальше метит.

Мэр: Знаю. В тебя она метит.

Г. А. (демонстративно поглядев в мою сторону): Тихо, тихо, Петр! Дэ ван лез анфан!

Мэр снова закатывает речь о том, как ему тяжело. На носу осенняя сессия. Итэдэшники требуют снижения регионального налога. Контракт с грузинами заключили, а проект до сих пор не готов. В ноябре общеевропейская конференция в обсерватории, сам Делонж приедет, а где их селить? Старую гостиницу снесли, а новую и до половины не построили. И так далее. Одним словом – самое время в отставку. Г. А. похлопывает его по руке, смеется, но по-прежнему озабочен. А вот мэру явно полегчало. Видимо, ему просто некому было тут поплакать в жилетку.

Г. А.: Значит, я на тебя надеюсь.

Мэр: На мэра надейся, но и сам не плошай.

Оба смеются. И тут в кабинет вваливается какой-то деятель с бюваром. Коломенская верста, по всей голове – белоснежная седина, а лицо молодое, острое и красное, как у индейца. Одет безукоризненно. Разит одеколоном на весь дом. Сначала он мне просто даже понравился, тем более что с ходу подключился к беседе, причем на стороне Г. А.

Г. А. при нем и рта не раскрыл, а он высыпал на мэра все те же безотбойные аргументы: лицо города, срам на всю Европу, нечего потакать крикунам и паникерам. И даже более того, – почтительные, но твердые упреки «господину мэру»: нельзя быть нерешительным, колебания – залог поражения, давно пора стукнуть кулаком по столу и показать, кто именно в городе хозяин.

Из контекста его выступления мне стало ясно, что он у нас в городе главный по культуре. Вся наша городская культурная жизнь, как я понял, лежит на его широких плечах и им одним вдохновляется – конечно, при поддержке «господина мэра» и вопреки яростному сопротивлению крикунов и паникеров. (Сам себя не похвалишь, то кто же?) Оказывается, и концерт Джихангира на нашем стадионе – это тоже его личная заслуга. Именно он, вопреки крикунам

и паникерам, переманил к нам Джихангира из-под самого носа у Оренбурга, и вот теперь вся Европа пишет про нас, а не про них.

Мэру все это нравилось, он бодрел прямо на глазах, и вдруг Г. А. ни с того ни с сего сказал – причем голосом неприятным и даже сварливым: «Петр Викторович, я рассчитывал говорить с вами с глазу на глаз. Если вы заняты, я могу зайти позже». Возникла очень неловкая пауза, у мэра челюсть отвалилась, а наш культуртрегер так просто почернел. Впрочем, он быстро оправился, заулыбался и, извинившись, сказал как ни в чем не бывало, что забежал, собственно, только на минутку – подписать вот эту смету. Мэр, не читая, подмахнул, и культуртрегер, вновь извинившись, удалился. После этого произошел следующий разговор.

Мэр: Ну, брат Георгий Анатольевич, ты меня удивил! Единственный человек в городе тебя поддержал, и ты его – как врага!

Г. А. (тоном нравоучительным до нарочитости): А мне, Петр Викторович, чья попало поддержка не нужна. Я, Петр Викторович, человек разборчивый.

Мэр: А я, значит, неразборчивый. Спасибо тебе. Однако мое мнение: кто за доброе дело, тот и есть мой союзник. Нравится он мне или не нравится, симпатичен мне или антипатичен.

Г. А.: За доброе дело не всегда выступают из добрых намерений. Представь себе, например, что наш военторг затоварен десантными комбинезонами бэ-у. Кто главный потребитель этого тряпья? Фловеры. И кто будет тогда главным защитником Флоры? Заведующий военторгом.

Мэр (с огромным подозрением): Ты на что это намекаешь?

Г. А.: Я пока ни на что не намекаю. Вокруг доброго дела всегда толкутся разные люди – и добрые, и недобрые, и полные подонки. Флора – это рынок сбыта наркотиков. Удар по Флоре – удар по наркомафии. Помяни мое слово, если завтра в городе начнется дискуссия, завтра же газеты обвинят меня в том, что я – главный мафиози. А ты – мой сподвижник!

Мэр (ошарашенно): Йокалэмэнэ! Об этом я не подумал.

Г. А.: Вот и подумай. И будь готов: драка предстоит почище, чем на выборах.

Когда мы вышли от мэра, Г. А. спросил, что я думаю по этому поводу. Не очень-то приятно объявлять своему учителю, что ты с ним не согласен, но истина дороже, и я честно ответил: Флора мне активно не нравится, я считаю ее источником всякой скверны, текущей в город, так что выходит, мои симпатии на стороне противников Г. А. Другое дело, что я тоже не хочу и против насильственных действий. Язвы надо лечить, а не вырубать из тела топором. Так что в этом отношении я на стороне Г. А.

Г. А. помолчал, а потом спросил, что я думаю по поводу свободы образа жизни. Я ответил, что эта свобода, конечно же, должна быть полной, но при условии, что избранный образ жизни никому не мешает. «Так что в этом отношении ты на стороне Флоры?» – сказал Г. А. довольно ядовито. Я растерялся, но не больше чем на полминуты. Я возразил, что никогда не утверждал, будто Флора во всем не права. У Флоры, конечно же, есть свои плюсы, иначе она не привлекала бы к себе так много людей.

По-моему, Г. А. понравилось мое рассуждение, но разговор на этом кончился, потому что мы пришли в гороно и оказались перед секретарем заведующей. Секретарша удалилась в кабинет Ревекки, и ее довольно долго не было, так что мы стояли без толку и разглядывали прошлогоднюю выставку детского рисунка, развешанную по стенам. Мне понравилась акварелька под названием «Любимый учитель». Был изображен Г. А. – почему-то за обеденным столом. В одной руке у него был огромный кусок торта, в другой – огромный уполовник с вареньем, и еще огромная банка с вареньем стояла на столе перед ним. Видимо, парнишка собрал на картинке все свои предметы любви.

Потом мы предстали.

Ревекка Самойловна поздоровалась с Г. А. и сразу же спросила: «А что это за юноша?» Г. А. сказал: «Это мой выпускник, ему было бы полезно послушать, ты не возражаешь?»

Ревекка явно хотела сначала возразить, но потом почему-то раздумала. Она протянула мне руку, и мы познакомились. Я сел в уголок и стал смотреть и слушать.

Она немолодая, но сногсшибательно красивая. У меня из-за этого мысли были вначале несколько набекрень. И мне понадобилось очень основательно осознать, до какой степени она враг Г. А., чтобы я перестал видеть в ней женщину. (Вообще-то они с Г. А. знакомы с незапамятных времен. Они вместе учились в Ташлинском педтехникуме, а потом в Оренбургском педвузе. Он на три года ее старше. Кажется, отцы их тоже росли вместе и даже вместе воевали где-то. В Афганистане, наверное. Поразительно красивая женщина. А какова же она была тридцать лет назад?)

Г. А. перешел прямо к делу. Он сказал, что пришел самым покорнейшим образом просить ее смягчить свою позицию по отношению к Флоре. Он называл ее Ривой и смотрел на нее почти умоляюще.

Она холодно возразила в том смысле, что обо всем об этом у них с ним уже сто раз говорено и переговорено и что ждать от нее смягчения позиции просто нелепо. Или Флора, может быть, перестала быть источником нравственной проказы? Или, может быть, Г. А. придумал новые аргументы, способные успокоить обезумевших от беспокойства родителей? Или Г. А. изобрел способ отвлекать неустойчивых школьников от низких соблазнов Флоры? Может быть, лучи изобрел какие-нибудь? Или микстуру? Впрочем, называла она его Жорой и была скорее иронична, чем неприязненна.

Г. А. иронии не принял. «Ты хорошо представила себе, как это будет? – спросил он. – Этих мальчишек и девчонок будут волочить за ноги и за что попало и швырять в грузовики, их будут избивать, они будут в крови. Потом их перешвыряют на платформы, как дрова, и куда-то повезут. Тебе это ничего не напоминает?»

Она несколько побледнела и построжела, но тут же возразила, что Г. А. сгущает краски, все эти ужасы вовсе не обязательны, все будет проделано вполне корректно и в рамках человечности.

Г. А. сказал: «Ты прекрасно понимаешь, что никакой корректности при выполнении подобных акций быть не может. Наши дружинники и наша милиция – это всего-навсего обыкновенные горожане, точно такие же обезумевшие от беспокойства родители, родственники и просто ненавистники Флоры. При малейшем сопротивлении они сорвутся и начнут карать. Потом они опомнятся, им сделается непереносимо стыдно, и чтобы спасти свою совесть от этого стыда, они дружно примутся оправдывать себя друг перед другом и в конце концов эту самую позорную страницу своей жизни они представят себе как самую героическую и, значит, изувечат свою психику на всю оставшуюся жизнь».

Она нервно закурила, ломая спички, и снова сказала, что Г. А. сгущает краски, что она и сама, разумеется, не видит ничего хорошего в этой акции, но вовсе не намерена рассматривать ее как некую преступную трагедию. Главное – все тщательно и четко организовать. Разумеется, всем участникам будет внушено, что они действуют во имя добра и должны действовать только добром…

Г. А. не дал ей договорить. «Держу пари, – сказал он с напором, – что сама ты не осмелишься присутствовать на этой акции. Ты все тщательно и четко организуешь, ты произнесешь нужные речи и дашь самые правильные напутствия. Но сама ты останешься здесь, за этим вот столом, – заткнув уши и закрыв глаза, будешь сидеть и мучительно ждать, пока тебе доложат, что все окончилось более или менее благополучно».

Еле сдерживаясь, она объявила, что не желает больше слушать этого карканья. Она совершенно убеждена, что никаких ужасов не произойдет.

Г. А. сказал печально: «Ты наговариваешь на себя. Я ведь вижу, ни в чем ты не убеждена. Ни в какие магические свойства инструкций и напутствий ты не веришь. Ты же умница, ты же знаешь людей. И, конечно, ты своевременно позаботишься о том, чтобы все больницы города

были приведены в полную готовность, ты и соседние медсанбаты задействуешь, и в тылах твоей армии двинутся на Флору десять, двадцать, тридцать карет «скорой помощи»… Само решение твое организовать эту акцию уже проделало дырку в твоей совести. Сейчас ты эту дырку начала латать и будешь латать ее дальше…»

И тут она сорвалась. «Прекрати демагогию! – почти закричала она. – Перестань выкручивать мне руки! И не воображай, пожалуйста, будто я стану разводить антимонии вокруг моей дырявой совести, когда речь идет о судьбе детей, которых ежедневно отравляет эта зараза…»

Тут вот, совершенно не вовремя, у меня опять схватило живот, да так, что глаза на лоб полезли, и я почти перестал слышать что-либо, просто стало ни до чего. (Возрастное это у меня, соматическое или психическое – когда схватывает, разницы никакой. Главное, что не вскочишь, не побежишь вон, да и не знал я, где у них там заведение.)

Я сидел, обхвативши свой несчастный живот, и молился только об одном, чтобы лицо мое ничего не выражало. Вспоминалось: харакири; рак желудка; лисенок, пожирающий внутренности юного спартанца. И сейчас я просто горжусь, что, несмотря на мое несчастье, я все-таки кое-что услышал, запомнил и даже записал. Правда, только то, что говорил Г. А. От Ревекки остался в памяти один лишь резкий, почти истерический голос, от которого боли мои заметно усиливались, словно попадая в резонанс. А вот Г. А., чем больше она на него кричала, говорил все тише и печальнее.

Человечность едина. Ее нельзя разложить по коробочкам. А человечность, которую вы все исповедуете, состоит из одних принципов, вся расставлена по полочкам, там у вас и человечности-то не осталось – сплошной катехизис. Твой ученик лучше сожжет свои старые ботинки, чем отдаст их босому фловеру. И будет считать себя человечным в самом высоком смысле: «Пойди и заработай», – скажет он.

(Сейчас я вспомнил: на прошлой неделе какой-то скот подкинул Флоре ящик тухлых консервов. Я, пожалуй, берусь логически обосновать позицию, с которой это деяние выглядит высокочеловечным. Тезис первый: человечность должна быть с кулаками…[39] И так далее.)

Человечность выше всех ваших принципов, сказал Г. А. Человечность выше всех и любых принципов. Даже тех принципов, которые порождены самой человечностью.

Потом обнаружилось, что они почему-то говорят уже о лицеях. Оказывается, существуют две крайние точки зрения. Одни считают, что лицеи надобно упразднить как заведения элитарные и противоречащие демократии, а другие – что сеть лицеев, наоборот, надлежит всемерно расширять и открывать по стране не три лицея в год, как сейчас, а тридцать три. Или триста тридцать три. Замечательно, что и в том, и в другом случае самой идее лицея как школы, в которой учат будущих учителей, самым благополучным образом наступает окончательный конец.

Не знаю, заметил ли Г. А. мое состояние, или исчерпалась необходимость в дальнейшем продолжении беседы, но он вдруг (мне показалось – ни с того ни с сего) поднялся и произнес:

– Что, Рива, дорогая моя, мерзко тебе чувствовать себя госпожой Макиавелли?

И произнес он это таким странным голосом, что у меня разом прошли все мои боли, и я полностью очухался, – весь мокрый от пота, но в остальном, как огурчик.

Ревекка вдруг покрылась красными пятнами, сделалась совсем старой и некрасивой и объявила с вызовом:

– Понятия не имею, что ты имеешь в виду.

Что и было явным враньем. Прекрасно она понимала, что Г. А. имеет в виду. В отличие от меня.

И тогда Г. А. сказал совсем уже тихо:

– Приговор мне и моему делу читаю я на лице твоем.

И мы ушли. Вежливо попрощавшись.

(Мы свернули по коридору направо и очень скоро оказались перед дверью в сортир. Вопрос на засыпку: зашли мы туда потому, что это понадобилось Г. А., или потому, что он таким образом дал мне деликатно возможность воспользоваться? И тогда, спрашивается, что правильнее: проявить такую деликатность, но зато заставить потом младшего ломать голову, нет ли в этой деликатности некоего унижающего манипулирования его, младшего, самодостаточностью; или прямо сказать ему: сортир направо, я подожду здесь, – что, безусловно, на минутку покажется ему, младшему, неприятно бестактным, но зато не оставит по себе никаких обременяющих сомнений и рефлексий. Не знаю. Я не знаю даже, важно ли это и стоит ли об этом думать. Сам Г. А. наверняка о таких пустяках не думает и в подобных ситуациях действует совершенно рефлекторно. Но, с другой стороны, тот же Г. А. утверждает, что в отношениях между людьми пустяков не бывает.)

На лестнице Г. А. процитировал: «Шли головотяпы домой и воздыхали. Один же из них, взяв гусли, запел… Откуда?» Вместо ответа я продолжил: «Не шуми, мати, зеленая дубравушка…»[40] Однако обычного удовольствия от обмена такого рода репликами мы не испытали. Во всяком случае, я. А когда мы вышли на улицу, Г. А. вдруг остановился и, посмотрев на меня и сквозь меня, произнес задумчиво: «Когда доброму гражданину цивилизованной страны больше некуда обратиться, он обращается в милицию». И мы направились в гормилицию. Три автобусные остановки. Довольно жарко. Тени нет.

У входа в «Снегурочку» нас словно поджидал некий очень молодой гражданин, который пристроился к Г. А. и сказал ему негромко, глядя прямо перед собой: «Они уже автобусы готовят». Я узнал его, это был давешний куст, но уже без репьев в голове, умытый и облаченный в цивильное, как все добрые граждане.

Г. А. ничего ему не ответил, только кивнул в знак того, что услышал и принял к сведению. Юнец тут же отстал, а Г. А. почему-то пошел медленнее, без всякой целеустремленности, а как бы фланируя, и даже руки заложил за спину. Так и профланировали мы до самого подъезда гормилиции. Г. А. молчал, а я – тем более. Перед подъездом он вдруг как-то прочно остановился. «Нет, – сказал он мне, – к этому разговору я еще не готов. Пойдемте-ка домой, ваша светлость».

Перечитал записи последних дней насквозь. Мне не нравится:

1. Что Г. А. так активно вступился за Флору. Милосердие милосердием, но, по сути дела, речь идет о выборе между благополучием все-таки подонков и социальным здоровьем моего города.

2. Что Г. А. явно останется в одиночестве. Если уж мне не хочется его поддерживать, то что же тогда говорить, например, о Ване Дроздове и о Сережке Сенько?

3. И мне не нравится то, что я сейчас написал. Люди несоизмеримы, как бесконечности. Нельзя утверждать, будто одна бесконечность лучше, а другая хуже. Это азы. Я отдаю предпочтение одним за счет других. Это великий грех. Я опять запутался.

Муторно. Поужинаю – и сразу спать.

17 июля. 5 часов утра

События развиваются странно.

Около полуночи Г. А. постучался и безо всяких объяснений велел нам с Мишелем одеваться. (Я проспал часа три, а Михей вообще только глаза завел.) Мы оделись и сели в машину – Г. А. за руль, мы сзади.

Сначала я подумал было, что Г. А. решился наконец запустить нас в ночную смену на скотобойню, но мы поехали совсем в другую сторону, к университету, и остановились в тени новостройки неподалеку от третьего блока общежития для женатиков. Там Г. А. велел Мишелю сесть за руль и ждать, а сам удалился – пересек сквер и нырнул в пятый подъезд.

«Как интере-е-есно», – фальшивым голосом пропел Мишка и спросил меня, заметил ли я, как странно одет Г. А. Я ответил, что да, заметил, и в свою очередь спросил, заметил ли Мигель, что в этом полотняном балахоне Г. А. какой-то непривычно толстый и неповоротливый. Мигель заметил и это. Он приказал мне выйти из машины и принялся проверять стоп-сигналы, указатели поворота и прочее электрооборудование.

Пока мы этим занимались, откуда ни возьмись появился Г. А. в сопровождении какого-то хомбре. Это был очень красивый хомбре баскетбольного роста, головы на три длиннее Г. А. Лет ему было порядком за двадцать, на нем был немолодой варсовый костюмчик, – вернее сказать, только штаны были на нем, а курточку он все никак не мог на себя напялить, видно, сильно нервничал, и она у него совсем перекрутилась на могучих плечах, в рукава не попасть.

Увидевши меня, он стал как вкопанный и спросил сипло: «А этого зачем?» Очень я ему не занадобился, он даже с курточкой своей воевать перестал. Г. А. буркнул ему что-то успокаивающее, но он не успокоился и жалобно проныл: «А может, не надо, Георгий Анатольевич?» Г. А, не вдаваясь, приказал ему сесть назад, и он сел, словно натянув на себя через голову нашу бедную малолитражку. Г. А. сел рядом с ним, а я вперед – рядом с Мишелем. Хомбре опять уже ныл в том смысле, что надо ли да стоит ли, но Г. А. его совсем не слушал. Он приказал Михаилу: «В университет», – и мы поехали. Хомбре тут же заткнулся, видимо, отчаялся.

Мы подъехали к университету и принялись колесить по парку между зданиями. Г. А. командовал: направо, налево, – а хомбре только один раз подал голос, сказавши: «Со двора бы лучше, Георгий Анатольевич…» Со двора мы и заехали. Это был двор лабораторного корпуса. Ничего таинственного и загадочного.

Г. А. скомандовал нам не отходить от машины и ждать, а сам вместе с хомбре двинулся вдоль задней стены, и они исчезли за контейнерами. Где-то там хлопнула дверь, и снова стало тихо.

«Как интере-е-есно», – повторил Мишель, но ни ему, ни мне не было интересно. Было тревожно. Может быть, именно потому, что никаких оснований для тревоги вроде бы не усматривалось. (Я знаю, что такое предчувствие. Это когда на меня воздействует необычное сочетание обычных вещей плюс еще какая-нибудь маленькая странность. Например, атлетический хомбре, напуганный, как пятилетний малыш. Он ведь так и не сумел натянуть свою курточку, так она и осталась валяться на заднем сиденье.)

Ждать пришлось минут десять, не больше. Прямо над ухом с леденящим лязгом грянуло железо, и в двух шагах от машины распахнулся грузовой люк. Из недр люка этого, как из скверно освещенной могилы, выдвинулся хомбре, на шее которого, обхватив одной рукой, буквально висел наш Г. А. Другая рука Г. А. болталась как неживая, а лицо его было в черной, лаково блестящей крови.

Мы кинулись, и Г. А. прошипел нам навстречу: «Стоп, стоп, не так рьяно, дети мои…» А затем он проскрипел трясущемуся, как студень, хомбре: «Чтобы через два часа вас не было в городе. Заткните этого подонка кляпом, свяжите и бросьте, пусть валяется, а сами – чтобы

духу вашего не было!..» И снова нам, все так же с трудом выталкивая слова: «В машину меня, дети мои. Но мягче, мягче… Ничего, это не перелом, это он просто меня ушиб…»

Мы осторожненько впихнули его на заднее сиденье, я сел рядом, прислонив его к себе, и мы помчались. Только две мысли занимали меня тогда. Первая – кто посмел? И вторая – почему бока у Г. А. твердые, как дерево?

Ответ на второй вопрос обнаружился быстро. Когда мы с Майклом принялись обрабатывать Г. А. в лицейском медкабинете, мы прежде всего разрезали на нем дурацкий балахон, спереди весь заляпанный кровью и в двух местах распоротый от шеи до живота. И тогда оказалось, что Г. А. облачен в старинный, времен афганской войны бронежилет.

Выяснилось, что у Г. А. страшенный ушиб левого предплечья (ударили либо какой-то дубиной, либо ногой в подкованном сапоге) и длинная ссадина на правой половине лица, содрана кожа на скуле, надорвано ухо (по-моему, удар кастетом, но, к счастью, по касательной). Ушибом занимался Мишель, а ссадину обрабатывал я. Еле-еле управился – все внутри у меня тряслось от бешенства и жалости. Теперь я очень понимаю, почему врачи избегают пользовать своих родных и близких.

На протяжении всех процедур Г. А., как и следовало ожидать, развлекал нас шутками. Шуток этих я не запомнил ни одной, но зато очень даже запомнил, как он вдруг сказал с горечью: «Реакция у меня уже не та, ребятки. Да и всю жизнь у меня с реакцией было не ах. Но ведь это же был профессионал. Из бывших десантников, наверное». Словно мальчишка, который оправдывается, что его одолели в драке. Честно говоря, слышать это было странно. И в то же время трогательно. (Сначала я вообще не хотел об этом писать, мало ли кто прочтет, а потом решил: а почему, собственно?)

Дело наше уже подходило к концу, и нам с Мишкой совершенно одновременно пришло в голову: что теперь соврать Серафиме Петровне и вообще всем нашим? Г. А. эту нашу мысль моментально уловил и решительно нас пресек. Звонить никуда не надо, сообщать никому ничего не надо. Тем более не надо врать без самой крайней необходимости. Он благополучнейше переночует в своей каморке при кабинете. Князь сделает ему на ночь укольчик, и утром он, Г. А., будет как новенький.

А перед тем, как отпустить нас, он сказал совсем уже другим тоном, без всякой шутливости, жестко и повелительно:

– Имейте в виду. Сегодня ночью вы постелей своих не покидали и ничего не видели. Я покалечился, потому что поскользнулся на лестнице. И вот что: никаких попыток расследовать, отыскать, отомстить и прочее. Это приказ. И просьба. Не знаю, что для вас обязательней. Особенно это тебя касается, Мигель де Сааведра!

Мы вернулись к себе в два часа ночи. Сейчас пять. Больше двух часов ломали голову: что все это означает? Кто такой этот хомбре? Что Г. А. понадобилось в подвале? Он заранее знал, что будет опасно, и поэтому надел бронежилет. Почему тогда не взял с собой нас? Что еще там за профессионал объявился? Ничего не понятно. Только раздражение одно.

Ложусь спать. Майкл уже спит, только бурболки отскакивают.

Нет, не спит Майкл. Повернулся ко мне и произнес мечтательно:

– А ведь он там так и валяется, связанный. И с кляпом. А?

Что я ему мог сказать?

17 июля. Вечер

Около полудня Г. А. взял меня с собой в гормилицию.

Чувствует он себя неплохо. Рука на перевязи и почти не болит. А что касается ссадины, то великая это вещь – терамидоновый пластырь. Лицо ничуть не опухло, разве что несколько оттянут внешний уголок правого глаза.

Майор Кроманов принял нас без задержки. Я вижу его не впервые и каждый раз удивляюсь, до чего же человек может быть не похож на начальника гормилиции. Он широкий, рыхлый, вяловатый в движениях и обожает поболтать о том, о сем. Битых полчаса они с Г. А. рассказывали друг другу разные случаи о падениях с лестниц. А также – с трапов, с пандусов и прочих наклонных путепроводов. Потом Г. А. перешел к делу.

Какова позиция городской милиции в отношении готовящейся акции против Флоры? Что думает по этому поводу он, Михайла Тарасович, лично? Что правильнее: сделать милицию непосредственной участницей планируемой акции или уделить ей роль некоего сдерживающего фактора, некоего нейтрального механизма, призванного обеспечить порядок и дисциплину? Вообще, понимает ли Михайла Тарасович всю деликатность своего положения?

Михайла Тарасович деликатность своего положения понимал очень даже хорошо. Флора – это настоящая куча дерьма. Чем меньше ее трогаешь, тем меньше вони. Таково личное мнение Михайлы Тарасовича. Если бы можно было всю эту кучу в одночасье поддеть на лопату и бесшумно перенести в соседнюю, скажем, область, то это было бы самое то. Однако бесшумно такое дело не сделаешь. Вот если бы поступил приказ УВД, тогда никаких проблем бы не было и быть не могло, и уже не очень важно, шумно ты выполняешь этот приказ или бесшумно. Однако приказа такого нет и что-то не предвидится. А имеет место быть общественное движение. Бесспорно, мощное движение, единодушное, но руководство исполкома не слишком его поощряет, а уж о горкоме и речи пока нет.

Теперь смотрите сюда, дорогуша Георгий мой Анатольевич. Существование Флоры никакими законами не запрещается. Массовая неформальная молодежная организация, никаких преступных целей не преследующая. Статья сорок вторая Общего уложения, пункты А, Б и В. Это с одной стороны. А с другой стороны – массовое общественное движение, которое стремится стереть эту Флору с лица земли, – волеизъявление большинства, причем подавляющего большинства, того самого большинства, которому мы с вами, милый вы мой учитель, обязаны служить. А с третьей стороны – меня здесь посадили, чтобы я охранял общественный порядок. А что такое общественный порядок? Это значит: никакого мордобоя, никакого насилия, вообще никаких эксцессов, а тем более – носящих массовый характер. Вот и получается, что я обязан всячески защищать Флору, всячески способствовать ее уничтожению, а также не допускать, чтобы хоть что-нибудь происходило, – и все это одновременно.

Г. А.: Признает, что да, трудные настали времена для милиции.

М. Т. (мечтательно заведя глаза): Вот, помню, когда я еще был курсантом… (Рассказывает замшелую историю, как ему пришлось принимать участие в великой битве древних «дикобразов» с ныне вымершими рокерами. Милиция оказалась бессильной, так вызвали из-под Оренбурга роту мотопехоты – и никаких разговоров. Буквально тридцать минут понадобилось, вот по этим часам. – Убедительно стучит ногтем по дисплею старинного «роллекса».)

Г. А.: А если бы вы сейчас получили указание держать нейтралитет?

М. Т.: Чье указание? Петра Викторовича, что ли?

Г. А.: Хотя бы… Или, например, из Оренбурга, по вашей линии.

М. Т.: Милый вы мой и дорогой! Ей-богу, все понимаю, одного понять никак не могу. Ну что вам эта Флора? Грязная ведь куча, и больше ничего. Что вы за нее так хлопочете?

Услышав это, Г. А. некоторое время молчал, а потом сказал (дословно): Флора не нарушает никаких законов. Значит, то, что задумано, незаконно. Флора ни в чем не виновата. Город хочет наказать невиновных. Это несправедливо. Несправедливо и незаконно сразу. Как же я должен поступать?

М. Т. (крайне возмущен): То есть как это – несправедливо? Дети наши бегут туда, как в банду! Наркотики. Хулиганство. Промискуитет, простите за выражение. Принципиальное тунеядство! Мало ли что нет против них закона! Значит, отстаем мы от времени, не успевает наша юридическая наука за событиями… Ведь это только как официальное лицо я колеблюсь, а будь я сейчас в отставке, завтра же на Флору вашу первым же пошел бы и был бы в своем праве! (Он долго разоряется на эту тему, я записал только самое нутряное, у него еще было там четыре ссылки на древнюю историю, когда он был рядовым курсантом, а потом старшиной, и двадцать четыре ссылки на внучатых племянников и троюродных золовок.)

Г. А. (пытается втолковать): Они не бегут во Флору, они образуют Флору. Вообще они бегут не «куда», а «откуда». От нас они бегут, из нашего мира они бегут в свой мир, который и создают по мере слабых сил своих и способностей. Мир этот не похож на наш и не может быть похож, потому что создается вопреки нашему, наоборот от нашего и в укор нашему. Мы этот их мир ненавидим и во всем виним, а винить-то надо нам самих себя.

Для М. Т. все это как с гуся вода. Он откричался и вновь сделался благорасположен и самодостаточен. «Это, душа моя, все философия, – говорит он (от себя говорит, ни в коем случае не цитирует![41]). – Я ведь, собственно, что хотел вам посоветовать? Не связывайтесь вы с Оренбургом. Оренбург помалкивает. “Действуй по обстановке”, – вот и весь разговор. И очень хорошо я их понимаю. И, между прочим, действую. По обстановке. В Новосергиевке давеча полезли было эти неумытики из “пятьсот веселого” Оренбург – Черма, так там железнодорожники совместно с милицией вежливенько подсадили их обратно по вагонам, сигнал машинисту, и поехали они дальше… Оренбург официально слова не сказал, но было дано понять, что так, мол, держать и в дальнейшем. В Оренбурге ведь с вами и разговаривать не станут, Георгий свет Анатольевич! Ну, примут к сведению. Ну, пообещают чего-нибудь, поскольку вы все-таки депутат и заслуженный учитель. Но до дела не дойдет. Уклонятся. Да и нет такой силы, чтобы заставить их выступить против всей демократии, против народа выступить».

Г. А. некоторое время молчал, баюкая ушибленную руку, а потом вдруг посмотрел на меня. Я сейчас же встал и попросил разрешения выйти. Г. А. (с признательностью) разрешил и велел мне ждать его в буфете и чтобы взял я ему там бульон с пирожками – пусть остынет.

Все получилось очень мило, и все-таки я, конечно, был обижен. Ничего не могу с собой поделать. Не в первый раз. Все понимаю, и напрасно Г. А. потом приносит мне свои извинения. И все равно обидно. Возрастное. Вроде резей в животе.

Чтобы развлечь себя, я стал придумывать дальнейшее развитие беседы. Например, такое: «Ну, хорошо, Михайла Тарасович. Убедить вас мне не удалось. Тогда позвольте предложить вам взятку. Вот вам для начала тысяча рублей».

Г. А. отсутствовал пятнадцать минут. Потом пришел, не говоря ни слова, как-то механически похлебал бульону, откусил пирожка и только затем вдруг спохватился и принес мне свои извинения. Причем, к изумлению моему, счел даже возможным объясниться. Оказывается, они там без меня обменялись кое-какой информацией, имеющей узкослужебный характер.

Когда мы вернулись домой, в приемной дожидался Г. А. какой-то человечек. Я пишу сейчас о нем по одной-единственной причине: в жизни не видел я таких странных людей, да и не только я, как выяснилось.

Они с Г. А. скрылись в кабинете, а я все никак не мог разобраться. Физиономия совершенно бесцветная. Манеры – приторные до подхалимства. Одно ухо красное, другое желтое. Пиджачная пуговица на сытом животике висит на последней нитке. И штиблеты! Где он взял такие штиблеты? Не туфли, не мокасины, не корневища, а именно штиблеты. У одного только

Чарли Чаплина были такие штиблеты. И тут меня осенило: человечек этот, весь как есть, вывалился к нам в лицей прямиком из какой-то древней кинокомедии. Еще черно-белой. Еще немой, с тапером… Весь как есть, даже не переодевшись.

После ужина я спросил Г. А., кто это к нему приходил. Мне показалось, что Г. А. тоже порядком озадачен. «А тебе этот человек никого не напоминает?» – спросил он. Я сказал, что Чарли Чаплина. «Чарли Чаплина? Вот странная идея», – произнес Г. А., и разговор наш на этом закончился.

В обиде, разочаровании и озадаченности заканчиваю я день сей.

Рукопись «03» (10–14)

…Не так все это было, совсем не так.

10. Иоханаан Богослов родился в том же году, что и Назаретянин. Собственно, родился он не один, родилась двойня. Второго близнеца назвали Иаковом Старшим, потому что он увидел свет на несколько минут раньше Иоханаана. Кстати, Иоханаан (Иоанн, Иоганн, Иван, Ян, Жан) означает «Милость бога» («Яхве милостив»). Надо бы посмотреть, что означает Иаков (Джекоб, Яков, Жак).

Название рыбацкого поселка на берегу Галилейского озера, где увидели свет близнецы, не сохранилось, точно так же, как и сам поселок, дотла разрушенный римлянами во время Иудейской войны. Зато сохранилось имя счастливого отца. Был он рыбак и рыботорговец, и звали его Заведей. В семье Заведея было еще девять дочек, но они не играют в нашем повествовании совсем никакой роли.

Иоанн и Иаков в детстве были хулиганы и шкодники. В соответствии с легендой прозвище Боанергес («Сыны громовы») дал им Назаретянин, когда всем троим было уже за тридцать. Это неправда. Прозвали их так соседи, когда юные гопники вступили в пору полового созревания, и надо тут же подчеркнуть, что только в современном восприятии перевод жутковатого прозвища «Боанергес» звучит как нечто грозно-благородное. Для соседей же не Сыны громовы были они, а сущие сукины сыны, бичи божьи и кобеля-разбойники. Срань господня.

Время было смутное – время ожидания больших перемен, время великих пророчеств и малых бунтов. Как и вся галилейская молодежь того времени, Боанергес не желали идти по стезе покорности. Они не желали ловить рыбу и доходы свои смиренно отдавать мытарю. Они вообще не хотели работать. С какой стати? Они хотели жить весело, рисково, отпето – играть ножами, портить девок, плясать с блудницами и распивать спиртные напитки. И в то же самое время хотели они великих подвигов во имя древнего бога и древнего народа, мерещились им голоса могучих пророков и команды блестящих полководцев, грохот рушащихся стен Иерихона и жалкие вопли гибнущих иноверцев. Короче говоря, они являли собою великолепное сырье, из которого опытная рука могла вылепить все, что угодно, – от фанатичных убийц до фанатичных мучеников.

Однако, когда встал на их пути Иоанн Креститель, дороги братьев Боанергес разошлись. Выслушав первую лекцию знаменитого проповедника, Иаков сплюнул в пыль жвачку, затянул потуже пояс с римским мечом и негромко спросил: «Ну, что? Пошли к бабам?» Но Иоанн не пошел к бабам. Он остался. Парадоксальная идея любви к людям и всеобщего братства странным образом захватила его.

«Не будь занудой! – говорили ему. – Брось ты своего старого пердуна, и пойдем выпьем эфесского!» – «Сами вы пердуны, – ответствовал он. – В одном пуке моего пердуна в сто раз больше толку, чем во всем вашем болботанье». – «Но ведь это учение совершенно бессмысленно! – втолковывали ему. – Как ты можешь верить в подобную чушь?» – «Потому и верую я, что это бессмысленно», – отвечал он, на много лет предваряя достославного Квинта Септимия Тертуллиана – епископа Иберийского. «Но ты же должен понимать, что это учение противоречит здравому смыслу!» – внушали ему. «Киш мири ин тухес со своим здравым смыслом, – огрызался он, – унд зай гезунд!» (по-арамейски, разумеется, это звучало иначе, но смысл был тот же: поцелуйте меня в задницу со своим здравым смыслом и будьте здоровы).

А потом появился Назаретянин (тот, которого тогда и потом все называли Назаретянином), и Иоанн отдался ему всей душой. Он стал учеником его, и телохранителем, и снабженцем, когда это требовалось, – иначе говоря, он стал апостолом его, одним из двенадцати и одним из двух любимых. Вторым любимым был Петр.

В традиции Петр представляет экзотерическую, всенародную сторону христианства – исповедание веры, данное всем и каждому. Иоанн же – эзотерическую сторону, то есть мистический опыт, открытый лишь избранным, немногим. Поэтому церковь всегда стремилась дополнить начало Петра началом Иоанна, а еретики – гностики второго века, катары одиннадцатого – тринадцатого веков – всячески противопоставляли Иоанна Петру. Все это домыслы, и все это совершенно неважно. Главное и единственное зерно истины здесь – противопоставление.

Они на самом деле не любили друг друга. Иоанн не любил Петра, потому что не верил ему (как показали события – справедливо). Петр же попросту ревновал, он никак не мог понять, почему Учитель ставит на одну доску с ним, смиренным, просветленным и безгрешным Петром, этого буйного, злоязычного, не расстающегося с оружием греховодника.

Петр был солиден и степенен. Иоанн был дерзок и резок.

Петр был велеречив и многоглаголен. Иоанн был зубоскал и ругатель.

С Петром Учителю было легко. С Иоанном ему было надежно.

Именно Иоанн возлежал на груди Учителя во время той последней трапезы, и это вовсе не было проявлением сентиментальности – просто помстилось ему вдруг, что вот-вот тоненько взвякнет в кустах за окном тетива и стрела вонзится в сердце любимого человека. И он заслонил собою это сердце и, слушая биение его, вдруг с ужасом ощутил, как страшное знание предстоящей муки переливается в него, Иоанна, страшным, мучительным предчувствием, обессиливающим и не оставляющим надежды.

И именно он, Иоанн, единственный из всех, встал с мечом в руке у входа и рубился со стражниками, не отступая ни на шаг, весь окровавленный, с отрубленным ухом, оскальзываясь в крови, хлещущей из него и из поверженных врагов, пока Учитель, сорвав голос, не подбежал к нему сзади и не вырвал у него меч. Тогда он голыми руками проложил себе дорогу к свободе и бежал, не желая видеть, что будет дальше, потому что он уже знал, что будет дальше.

Он должен был умереть этой же ночью, попросту истечь кровью, но добрые люди подобрали его в придорожной канаве, и каким-то чудом он сумел выжить. Слово «чудо» употребляется здесь не как фигура речи, он совершенно уверен, что спасло его именно чудо, мистическое вмешательство, – первое мистическое вмешательство в его жизнь. (С именем Иоанна традиция всегда связывала мистические мотивы. Византийские авторы прилагали ему слово «мист», церковно же славянские – «таинник».)

Через два месяца после гибели Назаретянина, когда Иоанн кое-как, на карачках, впервые выполз на солнышко погреться, его нашел Иаков Старший. «Все, – сказал матерый разбойник. – Хватит дурью маяться. Пошли, там у меня повозка». С этого момента и на некоторое время Иоанн перестал быть христианином. Наверное, его следовало бы назвать отступником. На самом деле никакого отступничества в строгом смысле этого слова не было. Просто от горя и отчаяния он потерял какую бы то ни было перспективу и пустился во все тяжкие.

Несколько лет спустя, когда Боанергес, наслаждаясь заслуженным отдыхом, прогуливали хабар в компании шлюх и подельщиков в одном из притонов на окраине Александрии, Иаков вдруг толкнул брата в бок:

– Гляди, кто пожаловал, – сказал он.

Иоанн поглядел и увидел длинного и сухого, как жердь, нищеброда, который, стоя у порога, торопливо и жадно поедал неаппетитную снедь, извлекая ее грязными пальцами из щербатой глиняной миски.

– Да это же тот самый Агасфер! – сказал Иаков. – Ботадеус, «Ударивший бога»!

– Не знаю такого, – отозвался Иоанн, – да и знать не хочу. По-моему, это его бог ударил, а не наоборот.

И тут Иаков с жаром пересказал ему, что произошло в день казни между Учителем и Агасфером на дороге к Голгофе, в то время как раз, когда Иоанн подыхал от потери крови у добрых людей.

Иоанн внимательно выслушал всю историю до конца. Он вдруг испытал огромное облегчение. Оказывается, он ничего не забыл. Оказывается, все эти годы он мучился мыслью, что Иуда сумел уйти от возмездия. Каифа тоже давно откинул копыта. Пилат недосягаем. И есть еще тысячи. Они не убивали Его. Они всего-навсего оскорбляли Его. Их тысячи, и они безымянны. Но вот наконец появился некто с именем. Длинный, тощий, унылый, пожирающий отбросы. Ударивший бога.

– Этот человек должен быть строго наказан, – сказал Иоанн громко.

Он не знал, что этот человек уже наказан достаточно строго – так строго, как неспособны наказывать смертные. И, уж конечно, ему в голову не могло прийти, что, наказывая этого унылого дерьмоеда, он бесповоротно нарушает волю единственного человека, которого он любил, – из живых и из мертвых.

Никто не обратил внимания на его слова, а он спихнул с колен разомлевшую эллинку, легко поднялся, подошел вплотную к нищеброду и тем самым длинным ножом, которым только что кромсал баранью лопатку, ткнул под щербатую миску – снизу вверх, по самую рукоятку.

Exit Агасфер, он же Эспера-Диос, он же Ботадеус, Ударивший бога.

И дальше понесло братьев Боанергес по пределам Великой империи, и уже полиции двадцати городов и шестнадцати провинций числили их в своих списках «листид энд вонтид», трижды стяжали они и трижды промотали громадные состояния, четырежды принимали участие в мятежах против римских властей, и неисчислимое множество раз совершили они разбойные нападения на купцов, на помещиков, на ростовщиков, на мытарей, на случайных прохожих, а однажды даже – на базу морских пиратов, – пока не оказались в Риме и не попались на самом что ни на есть пустяковом дельце.

Поскольку дельце было пустяковое (они зарезали поддатого горожанина, возвращавшегося из бани, и были взяты *ин флагранти*), все было закончено в одно заседание. Разумеется, братья назвались чужими именами. Иаков Старший выдал себя за беглого из Пергама, а Иоанн, словно по наитию, назвал себя Агасфером, горшечником из Иерусалима. Господину районному судье, завзятому антисемиту, с утра вдобавок страдающему от алкогольного отравления, все это было совершенно безразлично. «Пергамец! – сказал он с болезненным сарказмом. – Это с такими-то пейсами! А ну скажи: «На горе Арарат растет красный виноград!..» Дело было абсолютно ясное. Двое бродяг из колоний дерзко лишили жизни римского гражданина. Приговорить мерзавцев к смерти через отравление.

В ночь перед казнью Иоанна почему-то совсем замучил дурацкий вопрос – зачем это ему вдруг понадобилось назвать себя именно Агасфером из Иерусалима? Что это было? Приступ бандитского ухарства, лихая предсмертная шутка? Холодный ли расчет? Назовусь-ка я именем мертвеца, пускай ищут. Или, может быть, подсознательное желание еще раз опозорить позорное имя?

О том, что это было предопределение, Иоанну суждено было догадаться гораздо позднее.

Иаков, проглотив яд, умер довольно быстро, хотя, разумеется, и помучился, ровно в той мере, в какой это было предусмотрено имперским правосудием. Иоанн – не умирал. Трижды ему, связанному, вливали в рот смертельное пойло, и трижды, судорожно корчась, он извергал все обратно. Случай это был хотя и редкостный, но далеко не первый, и в соответствии с прецедентом положено было доварить Иоанна в кипящем масле.

Так ему выпала еще одна ночь жизни. Видимо, яд все-таки проник в его организм, потому что до самого утра мучили его образы и одолевали голоса. Это было страдание. Он никак не мог понять, кто разговаривает с ним и что именно говорит. Нет, это не был Назаретянин. Это был

кто-то равный Ему, но не внушающий любви и не дарящий радости. Слова его были невнятны Иоанну. Иоанн понял только, что ему снова выносят приговор и снова его наказывают.

Заколов Агасфера, ты нарушил волю Учителя, – вроде бы сказано было ему.

Приняв имя Агасфера, ты сам определил себе наказание, – вроде бы сказано было ему.

Отныне и до Страшного суда ты будешь ходить по миру, – сказано было ему.

И будешь ты делать нечто, нечто и нечто, – сказано было ему.

А вот что такое это «нечто», Иоанн так и не понял в ту ночь.

Утром его привели к Латинским воротам и при небольшом скоплении народа сунули ногами вниз в огромный чан с кипящим маслом. Это было невыносимо больно, и Иоанн потерял сознание. Но он опять не умер.

Очнувшись, обнаружил он, что лежит на каменном полу в знакомом помещении суда, а над ним в пять глоток бранятся чины римской юридической коллегии. Оказывается, никакого преступника нельзя казнить трижды. Казнить третий раз, оказывается, означает искушать долготерпение богов. Искушать долготерпение не хотелось никому, кроме господина районного судьи, который, таким образом, оказался в меньшинстве. Однако, с другой стороны, никакого преступника нельзя, разумеется, оставлять безнаказанным. Поэтому юридическая коллегия приговорила: сослать навечно Агасфера из Иерусалима в одну из самых занюханных колоний Рима, в Азию, а именно – на островок Патмос. Что и было исполнено.

(СПРАВКА: Патмос, крошечный остров в Эгейском море в сорока километрах южнее линии, соединяющей острова Икария и Самос. В описываемое время его населяло несколько десятков вполне диких фригийцев, имеющих словарный запас в две дюжины слов и питающихся козьим сыром, вяленой рыбой и водорослями. Кроме фригийцев и коз, из крупных млекопитающих обитали там также и ссыльнопоселенцы.)

Иоанн провел на Патмосе сорок лет.

Чрезвычайно важным обстоятельством является то, что все это время рядом с ним безотлучно находился ученик его и слуга по имени Прохор. В высшей степени замечательная фигура этот Прохор. В утро кипящего масла у Латинских ворот ему было шестнадцать лет. Он был грек по происхождению и тайный христианин по убеждениям. Случайно оказавшись у места казни, он со всевозрастающим восторгом и обожанием наблюдал и слушал, как торчащая из булькающего масла голова с закаченными глазами хрипло провозглашает слова Учения вперемежку со странными откровениями и описаниями чудесных видений. К тому моменту, когда палачи отчаялись выполнить свой долг и потратили все отпущенное им масло, а вокруг котла собралось уже пол-Рима, Прохор понял, что се человек из царства не от мира сего. Судьба его определилась в это утро, и он последовал за Иоанном на Патмос, исполненный предчувствия подвига. При нем был большой запас пергамента и чернил, а также мешок сушеных смокв на первое время. Все это, разумеется, он украл у своего прежнего хозяина, в лавке которого отправлял обязанности ученика писца.

Предыстория Иоанна-Агасфера на этом заканчивается. На острове Патмос начинается его история.

11. В полном молчании мы поднялись на наш двенадцатый этаж и остановились перед дверью без номера. Миша сказал, слегка задыхаясь:

– Ты вот что, Серега. Говорить буду я, а ты помалкивай.

Я ничего ему не ответил, меня бил озноб. Только на лестнице, минуту назад, до меня вдруг дошло, что я втягиваю своего старинного дружка в крайне опасную для него затею. И тот факт, что у него, мол, служба такая и что он сам настоял на этом визите, меня ничуть не оправдывает. Очень мне хотелось сейчас сказать ему: «Ладно, Мишка, не надо. Ну их всех к черту». Но ведь и так поступить я тоже не мог! Надо же было как-то разрывать проклятый замкнутый круг…

В прихожей я помог Мише снять плащ, повесил его на распялку, а мокрый берет его положил под зеркало. Миша неспешно расчесывал перед зеркалом свои сильно поредевшие русые кудри. По-моему, он был абсолютно спокоен, будто в гости пришел в семейный дом коньячок пить и лимончиком закусывать.

– Куда прикажешь? – спросил он негромко, продул расческу и сунул ее в карман.

– Сейчас, подожди минутку, – сказал я.

Я не желал, чтобы мой Миша вел эту беседу из кресла для паршивых просителей. И вообще, пусть все увидит своими глазами.

– А вообще-то, чего ждать? Пошли, – сказал я и двинулся прямо в Комнату.

– Спокойно, Серега, спокойно, – промурлыкал Миша у меня за спиной. – Все нормально…

Комната была пуста. Я посторонился, пропуская Мишу, чтобы он увидел все: и дурацкий топчан у стены, и две блестящие металлические полосы, протянувшиеся от окна к дверям Кабинета, и дверь в Кабинет, как всегда распахнутую в глухую бездонную тьму, пронизываемую мутными пульсирующими вспышками. Миша все это быстро оглядел, и на лице его появилось незнакомое мне выражение. Он словно бы затосковал слегка, будто предстояло ему теперь же и непременно проглотить стакан касторки.

Демиург грянул:

– Клиента – в Приемную! Что еще за вольности?

Я стиснул зубы и злобно процедил:

– Это не клиент. Я попросил бы вас выйти и поговорить с ним.

– Делайте, что вам сказано!

Миша крепко взял меня за локоть и сказал в сторону Кабинета:

– Меня зовут Михаил Иванович Смирнов. Я – майор государственной безопасности и хотел бы с вами побеседовать.

Демиург, по-видимому, нисколько не удивился.

– Побеседовать или допросить? – осведомился он.

– Я здесь неофициально, – ответил Миша. – Просто хочу задать вам несколько вопросов.

– Почему – мне?

– Я хотел бы разобраться, представляет ли ваша деятельность интерес для моей службы. Уточняю: сейчас вы вправе не отвечать на мои вопросы.

– Можете не уточнять. Я всегда в таком праве… Сергей Корнеевич, я все равно не выйду, не надейтесь. Предложите гостю сесть.

– Не беспокойтесь, – сказал Миша. – Я сегодня весь день сидел. А вот повидать вас мне бы, честно говоря, хотелось.

– Еще бы… Ладно, я обдумаю эту идею. Посмотрим, как вы будете себя вести. А пока можете задавать ваши вопросы.

У меня икру свело от напряжения. Я кое-как дохромал до топчана, сел и принялся растирать ногу. А эти двое уже разговаривали, да так бойко, словно были знакомы всю жизнь и теперь затеяли игру в «барыня прислала туалет».

– Кто вы такой?

– У меня много имен. Меня зовут Гончар, Кузнец, Ткач, Плотник, Гефест, Гу, Ильмаринен, Хнум, Вишвакарман, Птах, Яхве, Милунгу, Моримо, Мукуру… Достаточно, я полагаю?

– Я не спрашиваю ваше имя. Я спрашиваю, кто вы такой.

– Я гончар, кузнец, плотник, ткач… Неужели мало? Я Демиург, наконец.

– Но вы, я полагаю, человек?

– Конечно! В том числе и человек.

– А еще кто?

– Вы что – не знаете, кто такой демиург? Так посмотрите в словаре.

– Хорошо. Посмотрю. И давно вы здесь?

– Больше полугода… Хотя… Это же зависит от того, как считать. Послушайте, а вам не все равно?

– Мне не все равно. Но если вам трудно ответить, оставим пока этот вопрос. Откуда вы прибыли?

– Вот что, майор. Хочу вас предупредить. Если я стану отвечать на ваши вопросы, касающиеся пространства и времени, то уверяю вас: ни удовольствия, ни удовлетворения вы не получите.

– Хорошо, я приму это к сведению, – терпеливо сказал Миша. – Так откуда вы прибыли?

– Да ниоткуда я не прибыл. Я был здесь всегда.

– Вот в этой самой комнате?

– Эта комната была здесь не всегда, майор. А я – всегда. В известном смысле. Причем и здесь, и не только здесь.

– Это любопытно. Насколько мне известно, человек такими возможностями не обладает. Прикажете мне сделать вывод, что вы все-таки не человек?

– Человек такой способностью не обладает. Верно. Зато я обладаю способностью быть человеком. И не только человеком.

– Ну что ж, это ваше право. Это никакими законами не возбраняется. А теперь расскажите мне, пожалуйста, если можно, конечно, какова цель вашего пребывания здесь?

– Мне кажется, что вы привыкли иметь дело с иностранцами.

– Почему же это вам кажется?

– Очень правильная речь. Очень свободные манеры. И вы явно привыкли задавать этот вопрос – о целях пребывания.

– Между прочим, я и ответы привык получать на этот вопрос. Итак?

– Я ищу Человека.

– Кого именно?

– Я ищу Человека с большой буквы[42].

Все время, пока шел этот быстрый обмен вопросами и ответами, Миша не оставался в покое ни на минуту. У меня было даже такое впечатление, словно он не особенно задумывается над своими вопросами и не очень-то вслушивается в ответы. Бесшумно ступая, он обошел комнату, внимательно оглядывая и ощупывая стены, постоял, задрав голову, под свисающим черным шнуром, изучая его прищуренными глазами, потом подошел к окну и заглянул вниз, а потом, присевши на корточки, осмотрел металлические полосы и даже постучал по ним ногтем – по одной и по другой. С отчаянием и бессильным разочарованием наблюдал я, как на его лице все отчетливее проступает сожаление о зря теряемом времени. Я словно читал его мысли: да, порядочной ерундой я тут занимаюсь, позвоню-ка я в раймилицию, пусть участкового пришлют, и все дела…

Услышав про Человека с большой буквы, он легко поднялся с корточек, подмигнул мне и, неслышными шагами направляясь к двери в Кабинет, произнес с комической серьезностью:

– А вы возьмите меня.

И впервые не последовала ответная реплика. Миша успел сделать еще два осторожных шага, и тут из тьмы навстречу ему выдвинулся Демиург, остановился на пороге и навел на Мишу бешеные яблоки своих глаз.

Я вскочил. Я испугался чуть не до обморока. А Миша отступил на шаг и сделал странное, незаконченное движение правой рукой – то ли хотел заслониться ею, то ли (несмотря на заверения его) что-то все-таки висело у него под мышкой левой руки. Он побелел, и крупные капли пота разом выступили у него на лбу. И тогда Демиург прогрохотал:

– Я обдумаю ваше предложение.

Сказал и соскользнул обратно во тьму.

12. В прихожей я попытался подать Мише плащ, но он отобрал его у меня со словами: «Давай, давай сюда! Что еще за китайские церемонии!» Пока он застегивался и напяливал перед зеркалом берет, я все ждал, скажет он мне что-нибудь прямо здесь или мы поговорим на лестнице. Но тут рядом обрушилась спускаемая вода, щелкнула задвижка, и из совмещенного санузла вывалился в прихожую Агасфер Лукич. Он хлопотливо, обеими руками застегивал ширинку, ухитряясь при этом тремя пальцами правой руки держать при себе свой любимый портфель.

– Пардон, пардон, пардон! – жизнерадостно воскликнул он, лаская Мишу Смирнова профессиональным взглядом. – Разрешите представиться: Агасфер Лукич Прудков, Госстрах, к вашим услугам. Руки не подаю – в силу последнего местопребывания. Не могу не воспользоваться моментом, однако. Госстрах, уважаемый Михаил Иванович, предлагает к вашим услугам…

И с феноменальной скоростью, нисколько, впрочем, не отражающейся на разборчивости и внятности, Агасфер Лукич рассыпал перед ошеломленным Мишей роскошный бисер всех услуг, которые предоставляет в распоряжение добропорядочного гражданина наша система государственного страхования.

Меня поразило, что Миша, по-видимому, совершенно забыл все, что я рассказывал ему об Агасфере Лукиче. Для него это явно был обыкновенный навязчивый страхагент, от которого совершенно не знаешь как избавиться без откровенной грубости и хамства. Миша неловко улыбался, делал обеими руками отстраняющие жесты, прижимал ладони к груди со словами: «Благодарю вас, я уже…» – в общем, вел себя не как Исаев-Штирлиц[43], а как занюханный кандидат наук, застигнутый у родимой кассы с зарплатою на руках. И когда мы выкатились наконец на лестничную площадку и я захлопнул за собою дверь, он с комическим облегчением вытер со лба воображаемый пот и сказал:

– Уф-ф… Еле ушел!

Мы начали спускаться по лестнице.

– Ну, как тебе? – нетерпеливо спросил я с тревогой.

И тут выяснилось такое, о чем я и сейчас вспоминаю с ознобом между лопатками. Хотя на самом-то деле – ну чего другого мог я ожидать? А было так.

На протяжении первых четырех этажей Михаил говорил неохотно, как бы через силу, говорил не потому, что хотел говорить, а потому, что считал себя обязанным сказать мне хоть что-то. Он мне благодарен. Я молодец. Я правильно сделал, что обратился к нему. Дело вызревает нешуточное. Этим займутся те, кому положено, а мне оставаться здесь совершенно не нужно. Может быть, даже опасно… Что тебя, собственно, здесь держит? Может быть, нужна помощь? Так скажи! Лучше всего, если ты уйдешь прямо сегодня, прямо сейчас… О жилье не думай, это все будет устроено…

На девятом этаже он взял меня под руку и принялся доверительно рассказывать, что аналогичный случай уже был у него – лет пятнадцать назад. Жулики эти мои, надо сказать, ловкие, однако ничего нового под луною, как известно, нет. Стоило ему увидеть эти металлические направляющие, как он сразу все понял. Никакие это не направляющие – это шины. А в кабинете у них – генератор. Правда, кое-что он даже сейчас объяснить не может, да это и не его дело… Это вообще не наше дело. Участковый прохлопал, ясно как день. У него в участке, понимаешь, такая банда аферистов, месяц уже орудуют как минимум, а он ушами хлопает. Я вот чего не могу понять: тебя-то они чем держат? Неужели ты такой легковерный? Мамочка моя, а еще кандидат, без пяти минут доктор… Ты дождешься, что тебя вместе с ними заберут! Статья такая-то, соучастие в жульнических махинациях… Не купили же они тебя, в самом деле. Понимаю, понимаю: обманули. Я и сам спервоначала черт-те что подумал, а ведь я – стреляный волк… Ничего, не дрейфь, я тебе верю, заступлюсь, пройдешь по делу как свиде-

тель… И возвращайся-ка ты в свою Степную, займись своими любимыми звездами, забудь про все про это, черт тебя сюда принес!..

На третьем этаже он крепко обнял меня за плечи и продолжал совершенно уже дружески растроганным тоном. Хотя, с другой стороны, что ты имел в своей Степной? Гостиничный номер? А здесь такая квартирка, ей-богу, завидно. Спальней ты меня просто убил, я даже Варьке рассказывать не буду, она же меня живым съест… И где только люди достают такие гарнитуры! И вообще, где ты книги берешь? Блат у тебя, что ли? Я «Военные мемуары» всю жизнь собираю, но такого набора… Жалко, Соня твоя на работе, сто лет не виделись. Слушай, что за манера – приглашать среди бела дня? Давай встретимся по-человечески, с женами, с ребятишками, моего Саньку с твоей Танькой познакомим… (тут он заржал). Как она из туалета-то выскочила… заалелась, будто маков цвет… Красивая девка, между прочим, растет. Да, брат, стареем, матереем, еще пяток лет – и детей женить пора… А коньячок у тебя ничего был, штатный. И все-таки, когда ты ко мне придешь, я тебе поднесу такого, какого ты никогда не пивал и не выпьешь, если я об этом не позабочусь… Ну, ладно, спасибо за приглашение, спасибо за угощенье, спасибо за привет… Нет-нет, провожать не надо, я знаю – вон там «шестерка» останавливается. Ну, давай!

Он обнял меня мимоходом, похлопал по спине и сбежал по ступенькам. Я остался стоять, придерживаясь рукой за мокрую, ледяную от дождя бетонную стену, и смотрел ему вслед, как он ловко перескакивает с кирпича на кирпич, пересекая грязевую полосу, а потом, глянув налево-направо, переходит улицу, направляясь к остановке автобуса.

13. Демиург сказал:

– Есть у вас еще вопросы?

– Нет, – сказал Миша. – Благодарю вас.

Он уже вполне оправился, и румянец вернулся на лицо его, но пот все стекал со лба по щекам на шею, и Миша то и дело вытирал его скомканным платком.

– Тогда я задам вам вопрос, – сказал Демиург. – Всего один. Чего вы хотите?

– Сейчас я хочу только одного, – криво улыбаясь, проговорил Миша. – Чтобы вас не стало. И никогда бы не было. Чтобы я сейчас благополучно проснулся. Проснулся, а вас нет и не было.

– Воистину, странный ответ, – сказал Демиург. – Не ожидал от вас… Впрочем, я вовсе не имел в виду вас персонально.

– Ах, вы имели в виду… Знаете, всё, чего мы хотим, изложено в Программе Партии. Прочтите, там все написано.

Демиург грянул:

– Благодарю вас! Вы свободны, майор. Сергей Корнеевич, проводите, пожалуйста, майора. Пальто и шляпу – подать.

…И когда я, как старая кляча, влекомая на живодерню, приволокся на свое место в Приемную, он сказал:

– Впредь прошу вас не приводить сюда своих друзей без специального предупреждения. У меня здесь не салон, а служебное помещение… Впрочем, в данном конкретном случае я вам, пожалуй, даже благодарен. Ведь ваша эпоха – это эпоха могущественных организаций, а я по старинке все вожусь с отдельными фигурами. Вы навели меня на мысли, благодарю вас.

14. СПРАВКА. Я уже много лет не женат, нахожусь в разводе. Мою первую и последнюю жену звали Александра. Миша Смирнов никогда ее не видел. Детей у меня не было и нет. Не было и нет среди моих близких и друзей, а также среди знакомых женщины с именем Соня, Софья или что-нибудь в этом роде.

В дальнейшем я еще дважды звонил Мише Смирнову. Один раз мне сказали, что он в длительной командировке. В другой раз мы с ним несколько минут побеседовали по телефону. Он был приветлив и вполне дружелюбен, однако от встречи уклонился, сославшись на крайнюю занятость. Прощаясь, он с удовольствием вспомнил «славный вечерок», который провел у меня в гостях, и попросил передать привет «Сонечке и Танюшке».

Других знакомых «в могущественных организациях» у меня нет. Прямое, по официальным каналам, обращение не сулит в перспективе ничего, кроме сумасшедшего дома.

Я остался один. Теперь уже совсем один.

15. Был уже поздний вечер. Даже скорее ночь. Я лежал…

Дневник. 18 июля

(Дополнение к 17-му)

Я, точно так же, как Михайла Тарасович, никак не могу ясно объяснить себе, почему Г. А. так рьяно болеет за Флору.

«Милость к падшим призывал»[44]?

Не то. Совсем не то. Я совершенно точно знаю, вижу, чувствую, что он не считает их падшими. Это мы все считаем их как бы падшими, не в том, так в другом смысле, а он – нет. Он вообще не признает это понятие – «падший». Все, что порождено обществом, порождено законами общества, а значит, закономерно, а значит, в строгом смысле не может быть разделено на плохое и хорошее. Все социальные проявления на плохое и хорошее делим МЫ, – тоже управляясь при этом какими-то общественными законами. (Именно поэтому то, что хорошо в девятнадцатом веке, достойно всяческого осуждения в двадцать первом. Безоглядное чинопочитание, например. Или, скажем, слепое выполнение приказов.)

Понимание и милосердие.

Понимание – это рычаг, орудие, прибор, которым учитель пользуется в своей работе.

Милосердие – это этическая позиция учителя в отношении к объекту его работы, способ восприятия.

Там, где присутствует милосердие, – там воспитание. Там, где милосердие отсутствует, – где присутствует все, что угодно, кроме милосердия, – там дрессировка.

Через милосердие происходит воспитание Человека.

В отсутствие милосердия происходит выработка полуфабриката: технарь, работяга, лабух. И, разумеется, береты всех мастей. Машины убийства. Профессионалы.

Замечательно, что в изготовлении полуфабрикатов человечество, безусловно, преуспело. Проще это, что ли? Или времени никогда на воспитание Человека не хватало? Или средств?

Да нет, просто нужды, видимо, не было.

А сейчас появилась? «Как посмотришь с холодным вниманьем вокруг…»[45] Значит, все-таки появилась! Иначе теория ПВП никогда бы не пробилась через реликтовые джунгли Академии педагогических наук. И не была бы создана система лицеев. И Г. А. был бы сейчас в лучшем случае передовым учителем в заурядной 32-й ташлинской средней школе.

Конечно, бытие определяет сознание. Это – как правило. Однако, к счастью, как исключение, но достаточно часто случается так, что сознание опережает бытие. Иначе мы бы до сих пор сидели в пещерах.

Проснулся Микаэль. Как всегда с утра, скабрезен.

18 июля. Вечер

Только что вернулись из столовой. Дискутировали. Горло саднит, будто парадом командовал. Настроение мерзопакостное. Говорил – ни к черту плохо. Не умею говорить. Но каков Аскольд!

Не хочу сейчас об этом писать.

Г. А. чувствует себя неважно. Пластырь я ему снял, но рука болит. Мишка озабочен и смотрит виноватым. Делали руке волновой массаж. Серафима Петровна вызывала Михея к себе в кабинет, угощала меренгами и допрашивала с пристрастием.

С одиннадцати до четырнадцати был в больнице. Помогал Борисычу с историями болезни, выносил горшки (на самом высоком профессиональном уровне) и вел лечебную физкультуру по всем палатам третьего этажа.

С пятнадцати до девятнадцати готовился к отчет-экзамену, конспектировал мадам Тепфер. Все-таки до чего трудно! Неужели же придется всерьез браться за эту чертову психогеометрию? Высшая педагогика, будь она неладна! Не верю я в нее. А если у человека нет способностей к абстрактному мышлению? Все-таки мы живем в очень жестоком мире.

События.

С утра по городскому каналу выступил Михайла Тарасович и объявил о больших победах. Наша доблестная милиция обнаружила и разгромила подпольную фабрику наркотиков. Фабрика располагалась в подвале лабораторного корпуса университета. (Эге! – разом подумали мы с Мишелем и молча посмотрели друг на друга.) Задержано шесть человек: один курьер, трое распространителей и двое боевиков. Арестован главный мафиози нашего города. Каковым оказался гражданин Тютюкин, занимавший пост заведующего отделом культуры горисполкома. (Эге! – сказал я сам себе и, за отсутствием Г. А., переглянулся с Аскольдом.) По подозрению в причастности задержана еще куча лиц, в частности заведующий складом химикатов, владелец кафе «Снегурочка», один из университетских садовников и прочие добрые граждане. (Ни одного студента. Что характерно.) Следствие продолжается. Есть все основания полагать, что в ближайшее время наш город наконец будет полностью очищен от наркомафии.

Уединившись с Мишкой, мы быстро обсудили, как же все это надобно понимать. Пришли к странному выводу. Получается, что Г. А. уже некоторое время знал и про подпольную фабрику, и про «крестного» из горисполкома, и еще, видимо, многое, но почему-то молчал, а позапрошлой ночью принялся действовать, причем как-то странно. Почти очевидно, что атлетического хомбре и прочих студиозусов вывел из-под удара именно он. Вопрос: зачем? Чем они лучше прочей наркомерзости? И откуда он мог знать, что Михайла Тарасович начнет свою операцию именно этой ночью?

Во время этого торопливого разговора мне пришла в голову одна довольно странная мысль, которая многое объясняет. Майклу я решил ее не сообщать. И воздерживаюсь излагать ее здесь. И так запомню.

Г. А. знает, что делает, – на этом мы с Михой и порешили.

Сегодняшние газеты полны Флорой. Оказывается, позавчера (я пропустил) Ревекка разразилась большой статьей в «Городских известиях», и теперь по всем газетам идут отклики. Триста тридцать три вопля отчаяния, горя, боли, ненависти, мести. Волосы шевелятся. Я представил себе моего Саньку Ежика, как он валяется в остывшей золе у костра, ясные глаза остекленели, рот распущен, и слюни тянутся, а он, ничего не помня, раз за разом режет себя бритвой, а эти полуживотные смотрят на него даже без особого интереса. Я не сдержал себя и выразился. При всех. Вслух. Дело было за обедом. При женщинах. И даже не извинился. Впрочем, никто не обратил внимания, а Борисыч мрачно прорычал: «Давно пора с этой чумой кончать.

В гинекологии две девчонки оттуда лежат – одной двенадцать, другой тринадцать. Знаете, как они себя называют? *Подлесок!*»

Никогда такого не видывал: в городе появились пикеты. Пожилые люди, на вид пенсионеры, – стоят по двое, по трое перед дверями дешевых заведений и уговаривают туристов не заходить. Перед «Неедякой» – двое седобородых с самодельными плакатами. На одном плакате: «Здесь моего внука приучили к наркотикам». На другом: «Порядочные люди этот вертеп не посещают».

Еще плакаты (на оградах, на бульваре перед горсоветом, прямо поперек улицы) – черным по красному: «Твои дети в опасности! Спаси их!», «Бросай работу! Раздави гадину!», «Сделаем наш город чистым от зеленого гноя!»…

На улицах полно людей. И милиция. Никогда в жизни не видел столько милиционеров сразу, разве что на стадионе. И какая-то непривычная атмосфера всеобщего подъема, нервического, лихорадочного, нездорового, словно все слегка *приняли* то ли для смелости, то ли для бодрости, – раздаются приветственные возгласы в повышенном тоне, трещат по спинам увесистые хлопки крепких ладоней, все говорят, перебивая друг друга. Такое впечатление, будто никто сегодня не пошел на работу. Атмосфера не то вокзала, не то банкета. Атмосфера предвкушения.

(Вообще говоря, мне это не нравится. Неприятно даже представить себе хирурга, который жадно потирает ладони, хлопает ассистенток по попкам и возбужденно хихикает, предвкушая процедуру удаления опухоли.)

И конечно же, ни одного фловера. Что не удивительно. Будь я фловером, духа бы моего не было в этой атмосфере. И вообще в радиусе трехсот километров. Может быть, все-таки обойдется без насилия? Не полные же они дураки, должны же они понимать, что надо уносить ноги побыстрее и подальше?

В конце бульвара у меня екнуло сердце: на дереве болтался повешенный. Маскировочный комбинезон, зеленые лапти, все честь по чести. Но, конечно, это оказалось всего-навсего чучело. Под чучелом деловито суетилась парочка пацанов лет двенадцати со спичками и зажигалками. Я окоротил их: во-первых, десантные комбинезоны не горят; во-вторых, омерзительно, когда жгут даже чучело человека; в-третьих, они похожи сейчас на куклускскановцев, поджигающих повешенного негра. Они удалились на третьей скорости, а я пошел своей дорогой, горестно размышляя о том, что атмосфера охоты на чудовищ уже начала порождать чудовищ[46].

(Впрочем, сейчас мне кажется, что я, как это часто бывает с педагогами, приписываю свой собственный нечистый образ мыслей ребятишкам, которые ни о чем таком и не думали. Действо, которому я придал символический смысл, для них не имело никакого отношения ни к фловерам, ни к страшным замыслам взрослых вообще. Во вчерашней хронике они видели, как демонстранты сожгли чучело премьер-министра перед парламентом, а сегодня попалось им это чучело на бульваре, и захотелось, чтобы трещал огонь, валил дым, чтобы все вокруг забегали в панике, а там, глядишь, и пожарники подвалят… Что-нибудь в этом роде. Так что мой педагогический заряд мощностью в десять килотонн оставил их вполне невредимыми и в недоумении, а брызнули они от меня только потому, что форменная куртка лицеиста пользуется у школьников большим уважением, а может быть, они вообще знают меня лично, может быть, вел я у них в прошлом году какие-нибудь уроки, и перепугались они, что я их тоже узнал. Педагогика. Наука.)

А за ужином дискуссия началась с того, что Иришка с негодованием поведала нам вполне омерзительную историю. Нынче она с утра дежурила в специнтернате «Вишенка», и заявился к ним после обеда инструктор гороно товарищ Лютиков Андрей Максимович, созвал весь персонал в преподавательскую и выступил с «гениальным предложением»: вывести на завтрашнюю демонстрацию к горсовету всю «Вишенку» в полном составе, включая парализованных,

слепых и безнадежных. Колонна пойдет под лозунгом: «Мы обвиняем Флору!» Это произведет эффект. Это найдет отклик.

Это произвело эффект. Все в преподавательской обалдели. Это нашло отклик. Андрею Максимовичу, товарищу Лютикову, так врезали по мордасам со всех сторон, что он посинел, как вурдалак, и принялся орать неестественно тонким голосом, что все здесь будут уволены завтра же, что он этот рассадник защитников Флоры растопчет лично, а интернат развеет и расточит. Тогда Сергей Федорович взял трубочку, позвонил Риве и в двух словах объяснил ей, чем тут занимается ее инструктор. Рива велела отключить экран, а трубку передать Лютикову. «И затрясся вурдалак проклятый…»[47]

В преподавательской воцарились три минуты великого молчания. В великом молчании товарищ Лютиков выслушал, что говорилось ему Ривою, в великом молчании осторожно положил трубку, в великом молчании собрал свой портфель и удалился. И был он при этом уже не синий, а серый, что его, впрочем, тоже не украшало.

Все-таки трудно придумать что-либо более отвратное, чем потуги взрослых вмешивать в свои взрослые дела детей. В особенности если это не дела, а делишки, а дети не просто дети, а несчастные от рождения. Нет этому оправдания и быть не может, какие бы красивые слова при этом ни говорили взрослые. Признаюсь, я почувствовал к Риве неизъяснимую симпатию, хотя казалось бы, ну что такое особенно хорошее она сделала? Любой нормальный человек на ее месте должен был поступить так же. Особенно на ЕЕ месте. Тут, видимо, все дело в контрасте. На фоне злобного идиота даже самый обыкновенный человек выглядит ангелом, до умиления симпатичным.

Каким именно образом возникла дискуссия, я сейчас уже и не помню. Ведь вначале, сразу после рассказа Иришки, мы все пребывали в полном согласии. И вдруг – гвалт, размахивание руками, и каждый – ни шагу назад[48]. Главное, в лицее-то нас осталось сейчас всего шесть человек. Страшно вообразить, как бы все это выглядело, если бы орали и размахивали руками все двести.

Картина: в столовой почти все огни погашены, тридцать пустых ненакрытых столов, мы все шестеро на ногах, стулья опрокинуты, ужин недоеден, а в дверях кухни застыл в изумлении и испуге Ираклий Самсонович, белый колпак сдвинут набекрень, в глазах ужас, в руке – невостребованный белый соус к биточкам.

Вот что замечательно: если отвлечься от взрывов эмоций, от взрывов остроумия лицейского, имеющего целью повергнуть противника в прах любой ценой, а также от взрывов взаимных обвинений, вообще не имеющих никакого отношения к спору… так вот, если отвлечься от всего этого, то останется на удивление мало. Так, несколько тезисов.

Нам казалось тогда, что мы спорим по широчайшему кругу вопросов, а на самом деле спорили мы только об одном: прав Г. А. или нет. И как относиться нам к его правоте или неправоте. (Господи! Куда подевались все лекции по риторике и по культуре дискуссий? Ираклий Самсонович свидетель: шестеро мартышек, швыряющих друг в друга пометом и банановыми шкурками.)

И что еще замечательно: ведь общего между нами гораздо больше, чем разного. Все мы ученики Г. А., и все мы обучены свято следовать своим убеждениям. Все мы ненавидим Флору и тем самым не являем собою ничего особенного – целиком и полностью держимся мнения подавляющего большинства. Все мы любим Г. А., и все мы не понимаем его нынешней позиции, а потому чувствуем себя виноватыми перед ним и слегка агрессивными по отношению к нему.

Мы с Мишелем размахиваем руками, главным образом, потому, что нам не нравится оказаться в одной куче с большинством. Мы от этого отталкиваемся, но никаких серьезных оснований отмежеваться от большинства у нас нет, и это нас ужасно раздражает. И никаких оснований мы не находим, чтобы полностью стать на сторону Г. А., и это нас ужасно беспокоит.

Потому что ясно: если кто-то здесь и ошибается, то уж, наверное, не Г. А. То есть это для нас с Мишелем ясно. А совсем не ясно нам с Мишелем – как быть дальше. Следовать своим убеждениям – значит остаться в дураках, да еще предать Г. А. вдобавок. А слепо идти за Г. А. означает растоптать свои убеждения, что, как известно, дурно.

Вот у Иришки все просто. Она очень любит Г. А., и она очень жалеет Г. А. Этого для нее вполне достаточно, чтобы целиком быть на стороне Г. А. Это вовсе не означает, что она растаптывает свои убеждения. Просто у нее такие убеждения: ей жалко любимого Г. А. до слез, а на остальное наплевать. Флоры и фауны приходят и уходят, а Г. А. должен пребывать и будет пребывать вовеки[49]. Аминь! А будешь много тявкать, получишь этой овсянкой по физиономии.

Кириллу хорошо: у него билет домой на завтра, на тринадцать двадцать. Впрочем, он теоретик. «Верую, ибо абсурдно»[50]. Человековедение – это не наука, это такая разновидность веры. Здесь ничего нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Человековерие. Ты либо просто веришь, либо просто не веришь. Что тебе ближе. Или теплее… Г. А. – бог. Он знает истину. И если даже ваша паршивая практика покажет потом, что Г. А. оказался не прав, я все равно буду верить в Г. А. и смеяться над вашей практикой, и жалеть вас в минуту вашего жалкого торжества, а потом, может быть, позволю вам, отступникам, поплакать у меня на груди, когда в конце концов ваша жалкая практика превратится в пепел под лучами истины.

Зоя кричала и размахивала меньше всех. Простым глазом видно было, что сам разговор о Флоре вызывает у нее тошноту почти физическую. Она со своей душевной чистотой, доходящей уже до фригидности, не переносит Флору органически. (И дело здесь вовсе не в повышенной брезгливости. Во время эпидемии, помню, она работала вместе с нами и лучше многих из нас – с утра до ночи и с ночи до утра, гнойные простыни, желто-красные язвы, кровавые испражнения умирающих…) А Флора для нее – за пределом. Ведь это уже не люди. Это даже не животные. Это какие-то мерзкие осклизлые грибы, гнездящиеся на падали. Они вне моей сферы. Они вне наших законов. Они вообще вне… Г. А. – святой, а вы – нет. А я уж совсем нет, до последней степени – нет. И заткнитесь вы, ради бога, хватит об этом, ужин ведь все-таки…

В общем, никто меня особенно не удивил. Аскольд меня удивил. Он всегда был малость супермен, с первого класса, и всегда ему это нравилось. Я-то раньше думал, что это у него поза такая. Имидж. Г. А., помнится, пошутил как-то: с такими манерами, Аскольдик, прямая тебе дорога преподавателем в кадетское училище. Однако сегодня выяснилось, что это не только манеры. Тунеядство должно быть уничтожено. Перед нами выбор: либо мир труда, либо мир разложения. Поэтому у каждого тунеядца не может быть образа жизни, у него может быть только образ неотвратимой гибели, и только в выборе этого образа гибели мы можем позволить себе некоторое милосердие. И каждый тунеядец должен это усвоить твердо. А мы с вами должны сделать так, чтобы каждый потенциальный тунеядец, которому не повезло с генотипом, с семейной средой, со школой и прочим, был с наивозможной убедительностью предупрежден о своей неотвратимой гибели. Не надо: слюней, соплей, метаний и самопожертвования. Надо: железную твердость, беспощадную последовательность, абсолютную непримиримость. Г. А. – гений, это бесспорно. Да с этим никакой дурак и не собирается спорить. Просто надо помнить, что гении тоже ошибаются. Ньютон… Толстой… Эйнштейн… и так далее. Мы должны иметь свою голову на плечах, хоть мы и не гении. Мы должны сохранять хладнокровие мысли и не позволять нашему преклонению и восхищению застилать глаза нашему разуму…

Как всегда, аргументов в нужный момент у меня не нашлось, и все мои аргументы были – яростное швыряние помета и банановых шкурок. А как славно было бы спеть с ним тогда такой, например, дуэт:

Я: Предположим, что ты врач. Новая страшная эпидемия поражает только негодяев. Твои действия?

Он (пренебрежительно): Было. Сначала венерические болезни, потом СПИД. Старо.

Я: Нет, не старо. Там болезнь поражала всяких людей. Совершенно ни в чем не повинные страдали тоже. А теперь представь, что болезнь поражает только и исключительно подлецов. Ты, разумеется, будешь в этом случае железно твердым, беспощадно последовательным и абсолютно непримиримым?

Он: Что ты ко мне пристал? Я не врач!

Я: Да, ты не врач. Ты не приносил клятву Гиппократа. Но ты принимал присягу Януша Корчака! Люди вроде тебя всегда норовили делить человечество на агнцев и козлищ. Так вот, врач может делить человечество только на больных и здоровых, а больных – только на тяжелых и легких. Никакого другого деления для врача существовать не может. А педагог – это тот же врач. Ты должен лечить от невежества, от дикости чувств, от социального безразличия. Лечить! Всех! А у тебя, я вижу, одно лекарство – гаррота. Воспитанному человеку не нужен ты. Невоспитанный человек не нужен тебе. Чем же ты собираешься заниматься всю свою жизнь? Организацией акций?

Он (в бессильной ярости принимается швырять в меня пометом и банановой кожурой).

Да, воистину: самые убедительные наши победы мы одерживаем над воображаемым противником.

Сейчас мне пришло в голову, что ведь, пожалуй, и Аскольдовы подопечные Сережка Петух и Ахмет-богатур заметно отличаются и от моих ребятишек, и от всего остального их класса. Холодные драчуны. Кадеты. Маленькие аскольдики. Это уже неконтролируемое размножение! Ей-богу, хватит с нас и одного Аскольда.

Настроение, и без того не радужное, вконец у меня испортилось. Врачу, исцелися сам[51]. Педагогу, воспитай себя, а уже потом суйся воспитывать других. А то ты такого навоспитаешь, что сотня Г. А. их не перевоспитает.

Для поднятия тонуса сходил в комнату моих ребяток. Пусто и уже припахивает пылью. Но на стенах – милые сердцу картинки. На подоконнике – недостроенная модель Термократора. На столике – развороченный компьютер. На спинке стула – забытая Ежикова майка с надписью «It's Time of Total Truth»… Я присел перед подоконником, впаял Термократору недостающий глаз, и на душе у меня полегчало. Проще надо быть! Проще! Счастье – в простом.

Мне кажется, я понимаю, какую связь подразумевает Г. А. между этой древней рукописью и моей работой, но это слишком долго, а я слишком устал, чтобы сейчас об этом писать.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Совершенно не помню, что я тогда имел в виду. К сожалению.)

Рукопись «03» (15–18)

15. Был уже поздний вечер. Даже скорее ночь. Я лежал под одеялом у себя в каморке и читал на сон грядущий Агасферов «Преканон». Они разговаривали в Комнате. Тоже, видимо, на сон грядущий. Я не прислушивался. Как всегда между собою, они говорили на каком-то сугубо экзотическом языке, которого я никак освоить не мог, – гортанном и изобилующем придыханиями и шипящими. Вдруг голоса их возвысились. Я глазом моргнуть не успел, как они уже орали друг на друга. Встревоженный, я спустил ноги с тахты, и тут Демиург заревел, как иерихонская труба, а Агасфер Лукич завизжал невыносимым, скребущим душу визгом. Ничего подобного в жизни своей я не слыхивал. Визг этот был не животный, не механический и не электронный. Он был вообще не от мира сего. Так мог бы визжать Конь Бледный[52], бешено топча сонмы грешников. И сейчас же что-то тяжело ударило в стену, да так, что все висевшее на ней оружие с лязгом обрушилось.

В одних трусах влетел я в Комнату. В голове моей торчала одна-единственная нелепая мысль: «Весь ведь квартал на ноги поднимут, уроды!»

Уроды же выглядели так.

Агасфер Лукич, весь расхлюстанный, блистая потной плешью и потным брюхом, вывалившимся из-под брючного ремня, наскакивал на Демиурга, совершая диковинные взмахи и взбрыки ручками и ножками, – то ли норовил вскарабкаться на него, как на Красноярский столб, то ли стремился причинить ему какое-нибудь физическое увечье приемами борьбы, бывшими в ходу две тысячи лет назад.

Демиург же, отгораживаясь от него крылатым плечом, возился со знаменитым портфелем. Я впервые увидел руки Демиурга, они были черные, с зеленоватым отливом, с неопределимым количеством пальцев. Пальцы эти, длинные и мосластые, сложно и омерзительно шевелились, как шевелятся лапы паука, когда он бинтует муху.

На моих глазах он распахнул портфель (Агасфер Лукич вновь издал апокалиптический визг) и, придерживая его левой рукой, засунул правую в пышущие жаром недра – засунул глубоко, неправдоподобно глубоко, куда-то этажом ниже, как мне показалось. Несколько долгих секунд он шарил там, в жарких пространствах, звучно рыча и беспорядочно вращая налитыми кровью яблоками глаз.

Только на несколько секунд его и хватило – портфель полетел в сторону, а освобожденная рука взметнулась к потолку. Она была невероятной длины и с множеством локтей, а кисть ее до первого локтя была раскалена и светилась всеми цветами побежалости, и с кончиков ослепляюще белых пальцев срывались и летели по Комнате дымные искры и капли. А потом (волосы поднялись у меня по всему телу) левой рукой он ухватился за правую, с хрустом выдернул ее вон и швырнул в угол. Глаза его сделались уже как дыни, он разинул пасть, изрыгнул непонятную, но явную брань, многоэтажную и древнюю, щучьими зубами впился в первый подвернувшийся локоть левой руки, бешено мотнул медной головищей так, что кисточка парика взвилась дыбом, с тем же хрустом выдернул из себя и левую руку и словно окурок сигары выплюнул ее в бездонную тьму за дверью Кабинета.

И сразу стало тихо. Демиург осанисто поводил головой из стороны в сторону и плавно приподнимал то одно плечо-крыло, то другое, как бы демонстрируя нимало не уменьшившуюся мощь и боеготовность своего организма. Агасфер Лукич сидел на корточках возле топчана, любовно оглаживая, осматривая и даже обнюхивая свой счастливо возвращенный портфель. В углу все еще корчилась, остывая, страшная рука – скребла по обуглившемуся паркету сосульками оплавленных пальцев. Пахло потом, гарью и медной окалиной.

Потом Агасфер Лукич вдруг, словно бы спохватившись, перекатился на четвереньки и принялся озабоченно оглядывать пол вокруг себя. Не обнаружив искомого, он двинулся вдоль

стены на трех конечностях, прижимая четвертой портфель к голому потному боку. Тут я понял наконец: Агасфер Лукич в пылу сражения потерял свое искусственное ухо.

Демиург грянул:

– Да вон же оно, под калорифером! Что вы, в самом деле, будто Иов на гноище[53]!

Агасфер Лукич, не поднимаясь, быстро добежал до калорифера, нащупал драгоценное и, радостно улыбаясь, приладил его на место.

– Благодарствуйте, мой Яхве! – весело сказал он.

Так закончилась еще одна ссора между ними. Правда, раньше до драки дело у них не доходило. Чего они не поделили на этот раз? То ли Демиург хотел отобрать что-то в свою пользу у Агасфера Лукича, то ли Агасфер Лукич ухитил что-то у Демиурга… Бог у бога портянки украл.

16. Вот этот клиент мне окончательно осточертел. То есть я, кажется, уже всяких повидал, но этот был – что-то неописуемое. Тощий, старый, бледно-зеленый, с запекшимися губами, с горящими глазами фанатика, он многословно и невнятно, постоянно повторяясь и сбиваясь, излагал свою методу спасения человечества. Мысль его, словно поезд метро, постоянно двигалась по одному и тому же замкнутому кругу. Его можно было прервать, но отвлечь его было невозможно. И этот ужасающий местечковый акцент!..

Все очень просто. Христианство исказило естественное течение человеческих отношений. Учение Христа о том, что надлежит любить врага своего и подставлять ему все новую и новую щеку[54], это учение привело человечество на грань катастрофы. Древний благородный лозунг «око за око, зуб за зуб» оклеветан, забросан грязью, заклеймен как человеконенавистнический. Все беды – именно отсюда. Зло сделалось безнаказанным. Обидчики и нападатели привольно разгуливают по жизни, попирая ими же поверженных. Все дозволено тому, кто нагл, силен и злобен. Нет управы на него, кроме законов человеческих, коим цена – овечье дерьмо. Хулиган безнаказанно измывается над слабым. Чиновник безнаказанно измывается над робким. Наглый безнаказанно топчет скромного. Клеветник безнаказанно порочит правдивого. Властитель безнаказанно попирает всех.

Конечно, сам по себе лозунг «око за око», будучи формулой человеческой, ничего в этом мире изменить не способен. Но теперь, когда его может осенить мистическое могущество, если он воссияет на хоругви, несомой мощными дланями…

Четырежды Демиург давал мне распоряжение проводить. Четырежды ходатай за обиженных замолкал на мгновение, чтобы тут же начать все сначала. Мне пришлось буквально выковыривать его из кресла, затем отдирать от платяного шкафа, за который он уцепился, а затем отклеивать его пальцы от дверного косяка. И все это время он, как бы не замечая моих усилий и своего унизительного положения, втолковывал нам, что единственный способ раз и навсегда защитить обижаемых, унижаемых и оскорбляемых[55] – это наделить их способностью поражать обидчиков своих чем-нибудь наподобие электрического разряда.

Еле я его выпроводил. Когда я вернулся в Приемную, с отвращением обтирая об себя ладони, липкие от хладного пота ходатая, Демиург спросил:

– А как вы полагаете, Сергей Корнеевич, почему третий закон Ньютона не выполняется в сфере человеческих отношений?

Я подумал.

– На самом-то деле он, наверное, выполняется. В конце концов, всем известно: как аукнется, так и откликнется. Просто в человеческих взаимоотношениях нет ясных понятий действия и противодействия.

Демиург ничего не сказал на это, и я, подождав минуту, отправился на кухню. Наступило время обеда.

17. Я шел с авоськой по Балканской, направляясь в молочную, и думал о каких-то пустяках, когда произошло событие необыкновенное.

То есть началось-то оно вполне обыкновенно. Грохоча и лязгая, промчался мимо воняющий самосвал и с ходу обдал меня грязью из рытвины в асфальте. С обыкновенным проклятьем я остановился и принялся кое-как стряхивать с плаща и с брюк холодную жижу, как вдруг позади меня забухали приближающиеся сапоги, и хриплый, задыхающийся голос просительно просипел:

– Позвольте мне! Мне позвольте!

Я и ахнуть не успел, как здоровенный мужик в телогрейке, совершенно незнакомый, рухнул возле моих ног на колени и принялся трясущимися красными лапищами осторожно, как драгоценнейшее произведение искусства, обтирать полу моего плаща, брючину и заляпанный ботинок. При этом он, словно в лихорадке, бормотал:

– Сейчас!.. Моментально!.. Секундочку только, и все…

Я в ужасе огляделся. Никого вокруг не было, и лишь шагах в двадцати вонял на холостых оборотах давешний самосвал, стоя совершенно наперекосяк. Я шарахнулся, мне было гадко и страшно, но мужик не выпустил полу моего плаща, он побежал за мною, быстро перебирая коленями, и, заглядывая мне в лицо совершенно собачьими глазами, отчаянно прохрипел:

– Языком вылижу! Блестеть будут…

А у меня и голоса не было. Я только рванулся изо всех сил, освободился наконец и быстрым шагом пошел прочь, еле удерживаясь, чтобы не перейти на бег. До самого угла я боялся, что он меня догонит, и, поворачивая на проспект Труда, украдкой глянул через плечо назад. Безумец так и стоял на коленях, он лишь опустил зад на пятки и медленно обтирал руки о ватник, понурив голову. У него был вид человека, обреченного на казнь.

Душевное равновесие мое было нарушено, и, не сделав по проспекту Труда и нескольких шагов, я налетел на пенсионера самого почтенного вида – в шляпе и с тростью. Собственно, столкновения не произошло, в последнюю секунду я сумел притормозить, и мы только слегка коснулись друг друга плечами. Я пробормотал что-то вроде: «А, ч-ч-ч… Виноват…» Он же с поразительной живостью отступил на шаг, сорвал шляпу, взяв на отлет свою палку, проговорил, словно в театре:

– Мой дорогой! Разрешите принести вам мои глубочайшие извинения! Я позволил себе задуматься и был крайне небрежен.

– А-ап… – сказал я. – А-ас… Собственно, это я был небрежен… Вина, собственно, моя… Еще раз – пардон.

– Мы оба были небрежны, – с видимым облегчением произнес пенсионер и улыбнулся, как мне показалось, фальшиво. – Вообще-то, сейчас время такое, что глаза лучше дома не забывать.

– Правда ваша, – согласился я, чтобы не затягивать сцену, и пошел себе дальше в молочную.

Неприятное предощущение зашевелилось во мне. Где-то под ребрами справа. Все вокруг было до тошноты знакомо. Испещренный трещинами неровный асфальт с вечными лужами, и прошлогоднее пятно на нем от пролитой краски перед хозяйственным магазином, похожее на рисунок кроманьонца. Мокрые жалкие прутья садовых насаждений вдоль тротуара, в некоем неприличном контрапункте странно сочетающиеся с гигантским вылинявшим плакатом «Саду – цвесть!»[56] на брандмауэре бывшего доходного дома. Отгородившаяся от неба лоснящимися зонтиками терпеливая очередь за обоями в хозяйственный магазин. Прохожие, прохожие, прохожие, все больше тетки с кошелками, с сумками, с бидончиками, с собаками. И машины, машины, машины, господи, сколько нынче в городе машин!..

Вроде бы все как обычно, но чем дальше, тем страшнее мне становилось. Что-то происходило в городе, только я не мог уловить, что именно, и я не знал, как об этом спросить.

…Решительно, машины двигаются слишком медленно. Правда, на проспекте Труда везде «40», но ведь и вчера здесь было «40», а половина шоферов, как водится, никакого внимания на это не обращала… У всех машин включены подфарники по случаю туманной погоды. То есть буквально у всех!..

…Что они мне все улыбаются? Я эту тетку вижу впервые в жизни, а она мне кланяется и вся расплылась в улыбке, такой же фальшивой, как ее зубы… И эта туда же…

– Здрасьте… И вам здрасьте… Приветствую вас…

Вот оно! Ведь все же прячут глаза… лица прячут… Кто прикрывается зонтиком, кто смотрит под ноги, словно пятак потерял, кто отворачивается к витрине, хотя в витрине ничего, кроме ремонта, нет… Но если уж так выходит, что глаза наши встречаются, тогда сразу пасть до ушей, поклон чуть ли не подобострастный и – «здрасьте! здрасьте вам! доброго денечка!».

Сначала я подумал было, что это моя известность как личного секретаря Демиурга распространилась вдруг на все население ближайших кварталов. Но я не успел даже продумать последствия такого ошеломляющего предположения. Я обнаружил, что они все друг с другом раскланиваются, все друг другу осклабляются, все желают друг другу добренького денечка.

…Нет, не все, конечно. Им это явно не нравилось, они делали это явно через силу. Они делали это только в том крайнем случае, когда встречались друг с другом глазами и вынуждены были (почему, собственно?) непременно оказать внимание друг другу, как старым добрым знакомым. Можно было подумать, что нынче утром, пока я распинался на службе, власть в городе захватили исступленные почвенники и призвали соотечественников (под угрозой наказания на теле) вспомнить, откуда все они произошли, припасть к чистому источнику древних обычаев, погрузить обе руки в сокровищницу патриархальных нравов и, хотя бы на улицах, вести себя в соответствии.

Смешного тут не было ничего. Я предпочел бы сейчас вернуться домой, пусть даже без кефира и масла, и навести справки у Агасфера Лукича или по крайности включить телевизор. Но масла в доме не было никакого, это во-первых, а во-вторых, черт побери, надо было хотя бы попробовать разобраться во всем самому.

В молочной на первый взгляд ничего необычного я не обнаружил. Очередь в кассу была небольшая, за сметаной стояло старух десять, но сметана меня как раз не интересовала. Я набрал в сумку четыре бутылки кефира, обогнул стойку, взял три пачки масла по двести граммов и пристроился в очередь в кассу.

Нет, здесь тоже было нехорошо. Очередь вела себя не как очередь, а словно бы на светском рауте, как я себе это представляю. Они беседовали. Все. Они не стояли друг другу в затылок, как это принято испокон веков, они норовили встать друг к другу вполоборота, чтобы, упаси бог, не оказаться к кому-нибудь спиной.

Физиономию у кассирши, казалось, свело судорогой от перманентной любезной улыбки, руки ее так и порхали – выбивали, отрывали, отсчитывали, выдавали, и с каждым покупателем она здоровалась и каждому говорила спасибо. (Обычно она разговаривает так: «Чего вы все лезете со своими десятками? Нет у меня рублей, ослепли, что ли?» Зовут ее Аэлита.)

В магазине были еще грузчики. Я заметил их не сразу, потому что они были бесшумны. Эти два опухших амбала в грязных черных халатах катали и разгружали свои тележки с продуктами, передвигались как бы на цыпочках, мгновенно замирая на месте, если путь им пересекал случайный покупатель. Ни лязга не было слышно, ни грохота, ни своеобычных возгласов: «Валек! На хрен ты, падла, это сюда приволок?.. Эй, мамаша, подбери корпуса!..»

До кассы было восемь человек. От силы десять минут.

В очереди разговаривали:

– Дожди и дожди, а снегу все нет…

– Очень нужен снег. Для урожая.

– Это вы совершенно правильно говорите, дама. Снег зимой – это самое первое дело.

– То-то Рейган радуется!

– У них там – тайфуны. Я вам так скажу, что уж лучше пусть будут дожди, чем тайфуны…

Шесть человек до кассы.

Грузный седой дядька, стоявший передо мною, повернулся ко мне вполоборота и, напрягшись, выдавил заветное:

– Осень в этом году. Все тянется и тянется…

Я напрягся и ответил:

– Да. Полгода уже тянется.

– И не говорите. Когда она кончится!

До кассы оставалось всего четверо, но тут из сметанной очереди прискакала бабка и, рассыпаясь в корявых извинениях, пристроилась второй. Она там занимала, оказывается, старая карга.

Дядька передо мной еще раз поднатужился и пошел по новой:

– Когда осень, обязательно дожди. Случая такого не припомню, чтобы осень – без дождей.

Я не успел сообразить ответ, как из-за спины моей уже подхватили:

– Это вы правильно говорите, мужчина. Только в Африке этого нет.

– И в Австралии! – объявил дядька с неожиданным апломбом, но тут же спохватился: – Хотя точно утверждать не могу. В Австралии, может быть, и есть. Южное полушарие все-таки…

Я был уже третьим от кассы, но тут подошла особа в шляпе и с банкой сметаны в руке и сказала моему дядьке:

– Я, кажется, перед вами занимала…

– А, пожалуйста, – сказал дядька с готовностью и потеснился ко мне.

Особа вперлась. Я оглянулся. Народу-то за мной стояло всего два человека. Нет, ей обязательно надо использовать свое право. Ладно, я четвертый, переживу… А вот я и опять третий…

И вдруг раздался странный звук, что-то вроде сдавленного мычания. Что-то треснуло. Банка со сметаной упала на кафельный пол и разлетелась белой многоконечной звездой. Дядька шарахнулся и наступил мне на ногу, а особа в шляпе, хватая воздух пальцами в черных нитяных перчатках, стала медленно падать вбок от очереди. На секунду все замерло. Раздался короткий взвизг. Я стоял столбом в обычном своем для подобных ситуаций ступоре. Особа в шляпе мягко, как волейболист, упала на спину, и сейчас же тело ее противоестественно выгнулось дугой, а голова несколько раз с силой ударилась затылком о кафель.

Я все стоял столбом, уставясь на бьющуюся в судорогах женщину, но уже понимал, что это у нее какой-то припадок, приступ какой-то, и надо броситься и помочь ей, и я сейчас вот брошусь и помогу, только надо куда-то пристроить проклятую сумку с кефиром… Самое страшное, однако, заключалось в том, что люди вокруг, вместо того чтобы броситься женщине на помощь или хотя бы стоять столбом, как я, кинулись врассыпную кто куда, только бы подальше отсюда, сбивая друг друга с ног, с треском круша стойки и перегородки, нечленораздельно крича и панически взвизгивая.

Тут перед глазами у меня вспыхнуло, и я на некоторое время отключился.

Первое, что я, очнувшись, услыхал, был пронзительный, душераздирающий вопль Аэлиты:

– Ты что наделал, облом тамбовский? Харя твоя непроспатая! Это же ученый из нового дома, каждый день сюда ходит!

Я лежал щекой на кафеле, и кто-то осторожно стягивал с меня берет.

– У них такое пятно должно быть лысое за ухом… – виновато и опасливо бормотал незнакомый сипловатый басок.

– За каким ухом-то? За правым? За левым? – спрашивал другой голос, тоже сиплый и напряженно-испуганный.

Голову мою осторожно повернули и положили на кафель другой щекой.

– Нет у него ни хрена, – с явным облегчением и уже раздраженно сказал второй голос. – Ни за левым, ни за правым… Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие[57].

– Да я же вам говорю! – снова завопила Аэлита. – Ученый он, из нового дома на Балканской!

– Так а чего он, понимаешь… – агрессивно-виновато сипел басок.

– Чего, чего… В очереди человек стоял, вот чего!

– Так а чего он на нее глядел? Так и вперился, как этот…

– Ладно, давай хоть посадим его, что ли…

Меня взяли под мышки и аккуратно посадили, прислонив спиной к прилавку-холодильнику. Две опухшие сизоватые физиономии возникли перед моим лицом. Амбалы разглядывали меня внимательно и с сочувствием.

– Извини, друг, – просипел тот, что был слева. – Мы тебя за этого приняли… за громобоя… знаешь, который разрядом человека бьет… Уж больно ты страшно на эту бабу уставился… Прямо вызверился, как этот…

В магазине не было ни одного покупателя. Припадочная особа тихо лежала головой в луже сметаны. Она уже моргала.

– Продуктов-то сколько потоптали! – завопила Аэлита с новой силой. – Прилавок опять разнесли!.. Ну, чего встали, запойные? Вызывайте милицию! «Скорую» вызывайте!

18. Я сказал Демиургу:

– Я очень прошу вас впредь не делать меня участником ваших экспериментов.

Демиург ничего не ответил, а Агасфер Лукич мягко напомнил:

– Сережа, ведь я же говорил вам: не надо нам кефира, обойдемся! Ведь говорил же!

– Так масла же не было в доме ни крошки, – сказал я растерянно.

19. Остров Патмос на поверку оказался…

Дневник. 19 июля (утро)

У Лема есть рассказ, как изобрели снадобье, от которого совокупляющийся человек терпит непереносимые мучения. Идея изобретателя: половой акт должен иметь исключительно функциональное значение[58]. Как называется рассказ? Не помню. И Мишель тоже не помнит.

19 июля. 20 часов 30 минут

Утром позвонил тренер: занятия по субаксу сегодня отменяются. Вообще все тренировки в доме спорта сегодня отменены. Вопрос: «Почему?» Ответ: «Вы что – сами не понимаете?»

В газетах продолжается вчерашнее. По-прежнему гнев, стоны, проклятья, душераздирающие факты. Однако появились некоторые попытки теоретических обоснований.

«Городские известия». В. Кривошапкин, заведующий отделом трудовых ресурсов. «Мы в принципе не против так называемых неедяк, которых все-таки правильнее было бы называть лицами с добровольно редуцированными потребностями (ДРП). Мы достаточно богаты, чтобы прокормить их, одеть и обуть и даже обеспечить жильем. Тем более что уровень потребностей их в три-пять раз ниже среднего в нашем городе, и тем более что большая часть группы ДРП как-никак, а принимает участие в общественно полезном труде, причем берет на себя (пусть даже только спорадически) наименее престижные и непривлекательные работы. Я уже не говорю о том, что небезынтересный эксперимент некоторых семейств ДРП, посвятивших себя целиком воспитанию своих детей, не может не привлекать самого пристального и благожелательного внимания. Однако мы решительно против каких бы то ни было крайностей. А Флора, что бы ни говорили сердобольные ее защитники, это и есть та самая отвратительная крайность, с которой мы не можем позволить себе мириться…»

«Университетский вестник». Профессор Н. Микава излагает предварительные результаты первого социологического исследования Флоры в нашем регионе. Лиц мужского пола во Флоре больше, чем лиц женского. Пятнадцатилетних больше, чем шестнадцатилетних. (Ну и что?) Пробовали наркотики хотя бы один раз 96,2 % опрошенных. (Это и так все знают.) Алкоголем балуются примерно 30 %. (Ну и что?)

Ни выводов, ни рекомендаций, ничего. Только гордое признание в конце: де прозевали мы те сложные объективные процессы в социуме, которые привели к возникновению Флоры, и надлежит теперь нам, социологам, искупить свою вину, вплотную занявшись этим поразительным социальным явлением. И тут же заметка группы студентов: чего вы к ним пристали? Вспомните хиппи, вспомните битников, «металлистов», «караканаров», «акутагуев», «шлемников»… Перебесятся и вернутся к нормальной жизни. Двое из подписавших заметку – сами бывшие фловеры.

Но зато статья проректора – это нечто! Оказывается, это Флора виновата, что в университетских подвалах гнали наркотики. Каленым железом! Поганой метлой! Дустом их, дустом![59]

«Ташлинский агропром». Сплошной мрак. Средневековье. Ночь. И горит городская свалка.

«Кооператор». Все авторы без исключения предостерегают сограждан от экстремизма – главным образом от пикетирования предприятий, бьют себя в грудь на тему «не виноватая я!»[60] и в качестве доказательства своей абсолютной лояльности призывают пустить на Флору кавалерию. При этом все они категорически требуют не смешивать Флору с мирными *неедяками*, приводя примерно те же аргументы, что и «Городские известия».

«Молодежные новости». Тоже демонстрируют гордое признание своей вины. Это не только наша беда, это также и наша общая вина. Куда смотрел горком ВЛКСМ? Куда смотрели комсомольские организации предприятий и учебных заведений? Вот они, плоды чрезмерной заорганизованности комсомольской работы – с одной стороны, и чрезмерного потакания самым невзыскательным вкусам – с другой. Одним словом, Что Лично Сделал Ты – Чтобы Твой Друг Не Ушел Во Флору? Замечательная газета. Ты комсомолец? Да! Ужель не поумнеешь никогда[61]?

Все это, впрочем, цветочки, а ягодки – в «Ташлинской правде». Целая полоса. Три статьи. Дискуссия, если можно так выразиться.

Застрельщиком выступает некий Плюхин К. П. Из текста явствует, что к Флоре он никогда и близко не подходил, знает о ней только понаслышке да по рассказам знакомых, так что весь пафос его базируется на отвращении к внешнему виду фловеров, которых он случайно встречал на улице, а также на совершенно разумном тезисе, что труд сделал из обезьяны человека, а тунеядство поворачивает этот процесс вспять. Нынешняя молодежь совершенно не знакома с подлинными жизненными трудностями. Ей далеко до тех, кто осваивал Тюмень и Сургут, строил БАМ и выполнял свой интернациональный долг. И хотя в массе своей наша молодежь «поднялась на здоровой закваске», закрывать глаза на уродливые отклонения от нормы в ее среде у нас нет никакого права.

Тут бы, казалось, самое время вскричать: «Огнем и мечом!» – однако же нет. Оказывается, нам всем надлежит всего-навсего использовать все меры воспитательного, идеологического и политического воздействия, основанные на рекомендациях наших педагогов и социологов. Комсомол должен встать во главе перевоспитательного движения. Правоохранительные органы обязаны пребывать на высоте и не терять бдительности ни на малую секунду. Что же касается отдельных экстремистских тенденций, заявивших себя в городе в последнее время, то их надо рассматривать как паникерские, волюнтаристские и столь же опасные, как тенденции к пассивному приятию существующего положения. Социальная пассивность и социальная агрессивность – это две стороны стершейся фальшивой монеты дешевого политиканства.

Таким вот путем.

Дальше на две колонки идет наш Г. А. Горькая и блестящая статья. Очень его, очень личная. Читаешь и все время слышишь его голос.

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Статья эта не сохранилась. Я не нашел ее даже в Публичке. И можно лишь сожалеть, что в ту июльскую ночь я не переписал ее в свой дневник целиком, а только ограничился изложением некоторых ее тезисов, наиболее меня затронувших.)

Флора – разновидность преступного мира? Вздор. Ничего общего. Преступный мир паразитирует на нашей цивилизации, а Флора образует свою цивилизацию, свою собственную. Преступник вообще ближе к нам, чем Флора, – и по системе материальных ценностей, и по иерархии внешнего престижа. Дух цивилизации Флоры совершенно иной. Наши ценности для них – ноль. Их ценности для нас – за пределами нашего понимания, как кошачий язык.

Флора – дикари, не доросшие до нашей цивилизации? Неверно. Флора проросла из нашей цивилизации, как из слоя гумуса. Да, это дикари. Но это дикари совершенно особого типа – племя, вкусившее от нашей цивилизации и с отвращением извергнувшее то, что оно вкусило.

Суть происходящего в том, что никто не понимает Флору. А главная беда происходящего в том, что никто и не пытается понять Флору, потому что всем кажется, будто понимать здесь нечего, все и так ясно.

Флора не есть что-то отдельное от нас – некий отвратительный и опасный зверь из джунглей, которого надлежит либо уничтожить, либо отогнать на край света. (Кстати, куда хотите отогнать вы его? В соседнюю область? В соседний регион? В соседнюю республику?)

Флора – это боль наша, наше страдание. Может быть, это болезнь. Может быть, это гноящаяся рана. Но тогда нужен врач, профессионал, носитель знания и милосердия. И никакого самолечения! Никаких шаманских плясок! Никаких самопальных знахарей – с водкой вместо наркоза и ножовкой вместо ланцета.

А может быть, на наших глазах как бы стихийно возникает совершенно новая компонента человеческой цивилизации, новый образ жизни, новая самодовлеющая культура. И тогда кровь, боль, нечистоты – роды! Младенец непригляден, даже уродлив, он вопит и гадит, но он обречен на рост, и в обозримом будущем он обречен занять свое место в структуре человечества. И если это так, то упаси нас боже от нечистоплотных повивальных бабок и деловитых абортмахеров!

Кто больше всех кричит в нашем городе? Оглянитесь вокруг себя, присмотритесь, прислушайтесь, задумайтесь!

Очень громко, оглушительно кричат те (как водится), кто больше всего виноват в происходящем, те, кто не сумел воспитать, не сумел увлечь и отвлечь, не сумел привязать к себе – и в первую очередь те, кто был ОБЯЗАН все это делать, числился специалистом, получал за это деньги и премии: плохие педагоги в школах, равнодушные наставники на предприятиях, бездарные культмассовые работники. Они заходятся в крике, чтобы заглушить собственную совесть и оглушить тех, кто рядом с ними пытается разобраться, где же виновные.

Зычно взревывают ответственные лица, те, кто определял на месте, выдвигал, пестовал упомянутых кое-какеров, теперь они пытаются свалить вину на своих подопечных, на объективные обстоятельства, на мифических соблазнителей и, уже как водится, на тлетворное влияние извне. А рядом не менее зычно ревут пока еще полуответственные, быстро сообразившие, что вот-вот начнут освобождаться места и что сейчас самое время сколотить политический капиталец, продемонстрировав свою объективность, деловитость и готовность решительно исправить положение. О, это вечное племя, призванное отвечать за все и потому не отвечающее ни за что!

И уже заболботали, зачуфыкали, закашляли наши родимые хрипуны, ревнители доброй старины нашей, спесивые свидетели времен очаковских и покоренья Крыма[62], последние полвека познающие жизнь лишь по газетным передовицам да по информационным телепередачам, старые драбанты перестройки, коим, казалось бы, сейчас правнуков своих мирно тетешкать да хранить уют семейных очагов, – нет, куда там! Вперед, развернувши старинные знамена, на которых еще можно разобрать полустертые лозунги: «Тяжелому року – бой! Не нашей культуре – бой! Цветоволосы – с корнем! Синхролайтинги – с корнем! *Системки* – на помойку! *Контакторы* – под каблук!»

И залязгали железными голосами ревнители абсолютного порядка, апологеты фрунта, свято убежденные в том, что от любых социальных осложнений есть только одно лекарство: строй, марш и бравая песня с запевалой. Тот, кто вне строя, тот и вне закона. А с тем, кто вне закона, надлежит поступать однозначно: высоко и коротко.

И с каждым часом все громче орут, улюлюкают, горланят в предвкушении веселой охоты соскучившиеся молодцы, почуявшие уже, что наступает времечко, когда можно будет дать себе волю, безнаказанно разнуздать себя, почесать кулаки, пуститься во все тяжкие, не опасаясь правоохранительных органов. Уже за одну только эту свору не будет прощения тем, кто сейчас, вылупивши шары, мечет молнии демагогических словес, вместо того чтобы помолчать и задуматься.

«Я не называл имен, хотя я мог бы их назвать. Я был резок и, наверное, даже груб, но я не прошу прощения за это. Все, что я сказал здесь, обращено к людям, добрая половина которых – мои ученики и ученики моих учеников. Все, что я сказал здесь, обращено к ним в той же мере, в какой я обращаю это и к себе самому. Стыд и горе мучают меня последние дни, ибо вину за происходящее я полностью принимаю и на себя лично – в той мере, в какой может принять ее отдельный человек. И я прошу вас только об одном: замолчите и задумайтесь. Ибо настало время, когда ничего другого сделать пока нельзя».

Замыкает подборку декан социологического факультета. Статья его посвящена главным образом роли тунеядства – и в частности Флоры как социального явления в обществе начала второй НТР. Все очень разумно, академично и, на мой взгляд, бесспорно. В полемику с Г. А. он явно предпочел не вступать (не знаю уж из каких соображений), однако чувствуется, что он не согласен с Г. А. практически по всем позициям. Ни с содержанием, ни с формой.

Но мне кажется примечательным одно его рассуждение. Высказавшись в том смысле, что Флора была бы невозможна, если бы мы научились предоставлять каждому молодому человеку работу по его вкусу, он замечает: «Пока мы еще имеем моральное право осуждать Флору.

Не хватает рабочих рук, очень много непривлекательного и непрестижного труда, на который мы с упреком указываем Флоре, но уже недалеко то время, когда вторая НТР завершится (ориентировочно через 40–50 лет), непривлекательный и непрестижный труд будет целиком отдан кибертехнике, и что мы тогда ответим Флоре, когда она скажет нам: ладно, давайте вашу работу. Необходимо уже сейчас понять, что с нынешней точки зрения это будет очень странное время – время, когда труд навсегда перестанет быть общественной необходимостью. Может быть, нам действительно надлежит рассматривать нынешнюю Флору как некую модель общей социальной ситуации не столь уж отдаленного будущего?»

Что я из всего этого понял?

Редакционной врезки под публикацией нет. Следовательно, горком еще не принял своего решения по поводу намечающейся акции. И вообще заметно, что позиция горкома скорее умиротворяющая, нежели побуждающая. С другой стороны – подписи. Мне кажется важным, что про Плюхина К. П. все прописано досконально: и ветеран, и персональный пенсионер, и почетный наставник, и заслуженный рабочий РСФСР. То же и про декана: профессор, членкор, лауреат, депутат… А про Г. А. сказано просто, без затей: Г. А. Носов. Конечно, это можно понимать так, что каждый в городе знает, кто таков Г. А. Носов, и рекомендовать его нет никакой необходимости. Но при желании можно усмотреть здесь и некий предупреждающий намек: мол, сегодня ты и заслуженный учитель, и лауреат, и депутат, и член горсовета, а завтра – Г. А. Носов, и точка. Кирилл из всей этой подборки сделал в высшей степени оптимистические выводы: горком никаких крайних акций не допустит – пошумят, погалдят и утихомирятся. Смотри тон статьи ветерана, а также отсутствие среди авторов подборки преподобной красотки Ривы, да и арбитром выбран высоколобый, а не практик, не чиновное лицо.

Все это он изложил нам в вестибюле с чемоданом наперевес. Говорил очень убежденно, но в его положении странно было бы говорить что-нибудь другое, например: да, ребятки, дело ваше дерьмо, ну да ладно, как-нибудь вывернетесь, а мне пора в круиз вокруг Африки.

Едва мы его проводили, как меня вызвал Г. А. и сказал: «Пойдем». Мы пошли, и по дороге я все гадал, куда это мы идем, и, конечно, не догадался. А пришли мы на телецентр и поднялись прямо к главному начальнику. Главный начальник оказался длинным, сутулым, потным, волосатым (несимпатичным), и сразу же выяснилось, что он на грани истерики. Едва мы вошли к нему, как он вскричал рыдающим голосом: «Ну что тебе, Георгий? Ну что тебе еще?»

Да, он старый и верный друг Г. А. Да, он до гроба благодарен Г. А. за свою дочь. Кажется, он уже не раз доказывал свою благодарность и словами, и делами. Но сейчас сделать нельзя ничего. Неужели он неясно выразил эту простую мысль в телефонном разговоре? Нет, по радио тоже нельзя. Нет, никаких секретов, никаких тайных пружин, и он никого не боится. Но он держится буквально из последних сил. Он не намерен на старости лет марать свою совесть, а самое малейшее вмешательство в происходящее с неизбежностью приведет к тому, что он будет замаран с ног до головы. Нет, это глубокое заблуждение, будто «хуже не будет, а лучше – может быть». Будет именно хуже, причем гораздо хуже! Сколько трудов стоило ему уклониться от чести предоставить эфир: заведующей гороно, председателю Совета ветеранов, главному редактору «Ташлинского агропрома»… Если сейчас в эфир выйдет Г. А., тогда он (волосатый, несимпатичный главный начальник) по простой логике гласности должен будет предоставить эфир всем названным лицам и еще двум десяткам неназванным, которые, как собаки с цепи, рвутся призвать граждан к поганым метлам, каленому железу и ежовым рукавицам…

Кончилось тем, что Г. А. пришлось утешать его, волосатого, несимпатичного, вытирать ему сопли, напоминать о каких-то обстоятельствах, когда все закручивалось и похлеще, а кончилось благополучно, и в конце концов волосатый несимпатичный совершенно разрыдался – уже не в переносном, а в самом прямом смысле слова, и Г. А. взглядом показал мне, чтобы я вышел.

На обратном пути я спросил Г. А., что он думает о подборке в «Ташлинской правде». Г. А. ответил: «Могло бы быть значительно хуже». Потом помолчал и добавил: «А может быть, еще и будет значительно хуже. Посмотрим». Потом еще помолчал и пробормотал как бы про себя: «Во всяком случае я больше никуда обращаться не буду. Поздно». Это было ключевое слово: «Поздно, поздно! – кричал Вольф, – продекламировал Г. А., оживившись. – Пена и кровь стекали по его подбородку»[63]. Как всегда, цитата эта привела его в хорошее настроение. Он поглядел на меня повеселевшими глазами и вдруг спросил: «А не кажется ли вам иногда, Князь, что мы сейчас живем на переломе истории? Никогда не появляется у вас это ощущение? На переломе истории ужасно неуютно: сквозит, пахнет, тревожно, страшно, ненадежно, но с другой стороны – счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые[64]… А, Князь?»

В самом деле, каково это – жить на переломе истории? Надо подумать. Что это такое, собственно, – перелом истории? Когда на перекрестках стоят броневики и чадят костры, на которых догорают старые истины, – это уже не перелом истории, это уже началась новая история. А перелом – это производная по времени. Говорят, сердечники реагируют не на плохую погоду, а на изменение хорошей. Вокруг еще солнышко сияет, тепло, благорастворение воздухов, но давление начало меняться, и сердечник хватается за сердце. Может быть, и с историей так же? Может быть, Г. А. со своей чуткостью реагирует на изменения, которые только-только еще начались? Не удивился бы, хотя сам никаких изменений не ощущаю.

Пикетов еще больше, чем вчера. Лозунги примерно те же. Интуристам страшно интересно, они непрерывно сверкают вспышками и шуршат во все стороны видеокамерами.

Спросил Михея, что он, комсомолец Михей, сделал для того, чтобы его друг, Князь Игорь[65], комсомолец же, не ушел во Флору? Реликтовые звуки были мне ответом.

Рукопись «03» (19–22)

19. Остров Патмос на поверку оказался довольно оживленным местечком. Видимо, в то время он располагался на пересечении нескольких каботажных если и не дорог, то, во всяком случае, тропинок. Чуть ли не каждую неделю в его удобной южной бухточке бросало якорь какое-нибудь судно, чтобы пополнить здесь запас пресной воды, снабдиться вяленой козлятиной, а то и спустить на берег очередного ссыльного.

На Патмосе оказалось полным-полно ссыльных. Они называли себя жаргонным словечком *прикахты,* что соответствует примерно нашему понятию «крестник». Были там крестники Калигулы, крестники Клавдия, крестники Тиберия. Возомнившие о себе сенаторы, проштрафившиеся артисты, иноземные князья, мастера и любители красного словца, непотрафившие реформаторы – некоторые при семействах и скарбе, а некоторые без ушей, без языка, иногда без гениталий.

И все это была элита, даже те, кто был без гениталий. Социально близкие. А полуголый, вываренный в кипящем масле, облезлый профессиональный бандит был социально чуждым. Строго говоря, он был даже недостоин ссылки: если уж на него не хватило масла, то место ему было, без всякого сомнения, на кресте, а не в светском обществе. Поэтому первые недели пребывания его на острове были омрачены инцидентами.

Впрочем, правильнее было бы сказать, что недели эти были омрачены с точки зрения гордых прикахтов. Они стремились исправить упущение властей – и не преуспели.

Сначала были убиты три собаки: его пытались травить собаками, он убил их и вместе с Прохором съел, зажарив на угольях. Затем были изувечены четверо рабов сенатора Варрона, посланные отомстить за собак. Бандит лишил их гениталий, чтобы они в дальнейшем ни в чем не превосходили своего хозяина.

Тогда на него устроили настоящую облаву, которой руководили опальные офицеры Четырнадцатого легиона. Облава кончилась ничем: сожгли пустую развалюху, в которой ютился он с Прохором, разбили единственный его горшок со вчерашней похлебкой да захватили несколько коз, случившихся неподалеку и вряд ли ему принадлежавших.

Той же ночью поселок прикахтов запылал, подожженный с четырех концов пастухами-фригийцами, а бандит со своим Прохором, нагрузившись скарбом сенатора Варрона, ушел в горы. Таким образом, развеселое приключение изнывавших от скуки крестников трех императоров превратилось в тяжелую и бессмысленную войну с аборигенами, окончившуюся лишь месяц спустя капитуляцией на достаточно унизительных условиях.

Иоанн-Агасфер стал жить в горах. С точки зрения стороннего наблюдателя, это было чисто растительное существование. Он ничего не делал, только ел да спал. Приносил воду и добывал пищу Прохор. Иногда приходили пастухи. Не здороваясь, садились у костра и пили кислое вино, принесенное с собой в облезлых мехах. Тогда Иоанн напивался. Иногда ему хотелось женщину. Свободных женщин на острове не было. Он обходился козами. Никаких иных желаний у него не возникало. Собственно, он был счастливейшим человеком своего времени: ему не надо было работать, и все, чего он желал, было у него под рукой.

Вокруг него ничего не происходило.

Зато внутри него происходили вещи, поистине поразительные, и он с тревогой и изумлением впитывал их в свое сознание часами напролет, валяясь на шкурах в убогом шалашике. Началось это, несомненно, от римского яда, когда он трупом плавал в луже собственной блевотины на полу экзекуторской. Это продолжалось сквозь нестерпимую боль, когда его варили у Латинских ворот. И с тех пор это не прекращалось. Были ли это голоса, теперь уже вполне ясно и внятно рассказывающие ему о принципах и законах бытия? Возможно. Возможно, это были именно голоса. Были ли это видения, яркие и огромные, видения того, что было, того,

что будет, того, что есть? Да, очень может быть. Он видел. Он видел, он обонял, он осязал, он ужасался и восторгался. Но он не участвовал.

Долгое время он думал, что это боги говорят с ним, что они готовят его к какому-то великому деянию и наделяют его для этого нечеловеческим знанием, – *всезнанием* наделяют они щедро его. Но по мере того как сознание его наполнялось, по мере того как вселенная вокруг него и в нем самом становилась все огромнее, все понятнее, все яснее в своих неисчислимых связях, протянутых в прошлое и будущее, все проще в своей неизреченной сложности, – по мере того как все это происходило, он все тверже укреплялся в мысли, что никаких богов нет, и нет демонов, и нет магов и чародеев, что ничего нет, кроме человека, мира и истории, и все то, что озаряет его сейчас, идет не извне, а изнутри, из него самого, и что никаких таких особенных деяний не предстоит ему, а предстоит ему просто жить вечно, со всей вселенною внутри.

Замечательно, что в минуты бодрствования, пока он пожирал печеную рыбу, или глотал квашеное молоко, или подбирался к похотливой козе, он оставался прежним Иоанном-Агасфером, и даже не Иоанном-Агасфером, а попросту Иоанном Боанергесом – диким, хищным, простодушным галилеянином, не знающим грамоты и живущим только пятью чувствами и тремя вожделениями. Даже память об Учителе уже потускнела в нем, оставив лишь смутное ощущение неопределенной ласковой теплоты.

Он никогда не мог похвастаться хорошей памятью, если это не касалось мести и ненависти. В часы бодрствования сверхзнание его спало в нем, как Левиафан в толще вод, и если бы в такие часы его спросили, например, почему восходят и заходят небесные светила, он просто не понял бы вопроса. И если бы самому ему пришло в голову задаться вопросом, почему, например, дети похожи на родителей, он бы только подивился неожиданному баловству мысли, узревшей вопрос в естественном порядке вещей, а искать ответ он бы даже не попытался.

Знание просыпалось в нем неожиданно и всегда помимо воли. Как правило, это случалось в минуты крайнего раздражения, когда настигали его приступы нетерпимости к людям, к их глупости, к их самоуверенной болтливости, к их рабскому наслаждению собственным ничтожеством перед высшими силами – богами, жрецами или властями, – к их животному.

Впервые это случилось жарким летним вечером, когда солнце уже зашло и возле тлеющего костра шла неторопливая, специфически мужская беседа под молодое самодельное вино. Обыкновенным путем разговор от женщин перешел на коз, и пастухи с большим знанием дела принялись втолковывать Иоанну и Прохору все тонкости этого приятного занятия: по каким признакам следует выбирать животное; каким образом надлежит подготовить его к употреблению; а главное, какие меры надо принять, чтобы и в удовольствии ничего не было потеряно и чтобы не случилось скверного – чтобы не зачать чудовище.

Иоанн-Агасфер ничего не имел ни против мужской беседы, ни против козлиного поворота ее. Но когда пастухи понесли чепуху о козлолюдях, об их ужасном облике, об их кровавых повадках, когда вранье пошло громоздиться на вранье, когда наперебой и безудержно пошли мешаться авторитетные ссылки на богов и дедов, когда под треск раздираемых на грудях козьих шкур пошли в ход свидетельства очевидцев и непосредственных виновников, вот тогда Иоанн-Агасфер не выдержал. Он заговорил. Он сказал этим крикливым дуракам, что потомство коз от людей невозможно. (Он только что с совершенной ясностью понял, что знает это и, более того, совершенно точно знает, почему это невозможно.) Он попытался объяснить им, почему это невозможно. Впервые в жизни он ощутил, как это мучительно, когда все понимаешь, но не хватает слов. Лингвистическое удушье.

Они не поняли его. Он стал кричать. Он бил кулаками в каменистую землю. Он сплетал и расплетал пальцы, силясь продемонстрировать механизмы. Он заикался, как паралитик. Он заплевал себе всю бороду. Пастухи в ужасе разбежались, и он остался один – только Прохор рядышком с привычной сноровкой орудовал стилом по мятому листу грязноватого пергамента. Иоанн заплакал, швырнул в него головешкой и упал лицом в землю.

Ему пришлось учиться рассказывать. Он оказался способным рассказчиком. И очень скоро обнаружилось в нем четвертое вожделение: жажда делиться знанием. Это было что-то вроде любви. Здесь тоже нельзя было торопиться, а надлежало быть (если хочешь получить исчерпывающее наслаждение) обстоятельным, вкрадчивым, ласковым и нежным к слушателю. Приступы внезапного раздражения его против людской тупости, самодовольства и невежества не прекращались, но теперь сверхзнание его уже не нуждалось в них, чтобы изливаться совершенно свободно. Теперь ему достаточно было лишь корректной оппозиции. Это заставляло Иоанна искать партнеров.

Он сильно переменился к интеллигенции. Ему стали нравиться люди начитанные и исполненные любопытства к окружающему миру. Разумеется, с его высоты начитанность их представляла собою всего лишь систематизированное незнание, более или менее сложный комплекс неверных, ошибочных или неточных образов мира, но образование вооружило их логикой, скепсисом и пониманием извечной невозможности объять необъятное [66].

Он стал своим человеком в колонии прикахтов.

А Прохор все записывал.

Но было бы неправильным утверждать, будто Прохор записывает каждое слово своего возлюбленного пророка, хотя сам-то Прохор был искренне уверен, что ни единое слово не пропало втуне. Он начал записывать еще у Латинских ворот. Он продолжал записывать на галере, которая везла их на Патмос, мечущегося в бреду Иоанна, с которого кожа слезала, как со змеи. На Патмосе, пока сверхзнание вызревало в нем, Иоанн-Агасфер разговаривал во сне. Прохор записывал и эти речи – горячечные беседы Иоанна с воображаемыми богами.

Он записывал, когда взбешенного Иоанна рвало знаниями перед перепуганными пастухами. Он записал диспут Иоанна с Плинием Старшим, высадившимся на Патмосе проездом, чтобы забрать помилованного вождя германцев. И диспут с Юстом Тивериадским, прибывшим на Патмос специально встретиться с удивительным ученым. И еще многие и многие диспуты записал он, пока сам не научился умело заданными вопросами побуждать к извержению вулкан знаний своего пророка.

Так рождался АПОКАЛИПСИС, «Откровение Иоанна Богослова», знаменитый памятник мировой литературы, который сам Иоанн-Агасфер называл не иначе, как *кешер* (словечко из арамейской фени, означающее примерно то же самое, что нынешний «роман», – байка, рассказываемая на нарах в целях утоления сенсорного голода воров в законе). Ибо между тем, что рассказывал Иоанн, и тем, что в конечном счете возникало под стилом Прохора, не было ничего общего, кроме, может быть, страсти рассказать и убедить.

Иоанн-Агасфер говорил, бредил и рассказывал, естественно, по-арамейски. На арамейском Прохор был способен объясниться на рынке, и не более того. Писал же он и думал, естественно, по-гречески, а точнее – на классическом *койне*.

Далее. У Иоанна-Агасфера поминутно не хватало слов, чтобы передать понятия и образы, составляющие его сверхзнание, и ему все время приходилось прибегать к жестам и междометиям. Сознание его вмещало всю вселенную от плюс до минус бесконечности в пространстве и времени, и как ему было объяснить молодому (а хотя бы и пожилому!) уроженцу Херонеи, сыну вольноотпущенника от иберийской рабыни, что такое: пищаль, гравилет, ТВЭЛы, питекантроп, мутант, гомункулус, партеногенез, Линия доставки, протуберанец, многомерное пространство, инкунабула, Москва, бумага, бронепоезд, капитализм, нуль-Т, римско-католическая церковь, магнитное поле, Облачный город, лазер, инквизиция… Он и сам-то, Иоанн-Агасфер, не умел не только объяснить, но и просто назвать эти понятия, предметы и явления. Он всего лишь ЗНАЛ о них, он только имел представление о них и о связях между ними. Однако Прохор был великий писатель и, как все великие писатели, прирожденный мифотворец. Воображение у него было развито превосходно, и он с наслаждением и без

каких-либо колебаний заполнял по своему разумению все зияющие дыры в рассказах и объяснениях пророка.

Далее. Прохор изначально убежден был в том, что перед ним действующий пророк во плоти. Иоанн-Агасфер делился знанием, Прохор же записывал пророчества. Смутность, непонятность и бессвязность Иоанновых рассказов только укрепляли его в убеждении, что это, конечно же, и именно пророчества. И задачу свою он видел в том, чтобы растолковать, привести в систему, расставить по местам, связать воедино. Он вычленял главное, он безжалостно отсекал второстепенное, он искал и находил всем доступные образы, он обнаруживал и выявлял смысл, а когда он считал необходимым, то скрывал смысл, он выстраивал сюжет, он выковывал ритм, он ужасал, вызывал благоговение, дарил надежду, ввергал в отчаяние…

В результате он создал литературное произведение, обладающее совершенно самостоятельной идейно-художественной ценностью. Как и большинство крупных литературных произведений, оно не имеет ничего общего со стимулами, которые подвигли автора на написание. Поэтому толковать получившийся *кешер* можно множеством способов в зависимости от идейных установок и даже эстетических вкусов толкователя.

Насколько известно, ни один из толкователей не принял во внимание того замечательного и, может быть, решающего факта, что значительную и плодотворную часть своей жизни (какникак четыре десятка лет) Прохор провел в окружении прикахтов, в клокочущем котле оппозиционерских страстей, где бок о бок варились и яростные ненавистники Рима, и чрезмерные его паладины, и те, кто считал Рим тюрьмой народов, и те, кто полагал, что пора, наконец, решительно покончить с гнилым либерализмом. В этом бурлящем котле варились и переваривались самоновейшие слухи, сплетни, теории, предсказания, опасения, анекдоты, надежды, и Прохор, безусловно, был в курсе всего этого бурления. Он не мог не испытывать на себе, как и всякий великий писатель, самого глубокого воздействия этого окружения.

Так появляется еще одно возможное толкование Апокалипсиса, на этот раз как остросовременного сверхзлободневного политического памфлета, в котором элементы пророчества должны рассматриваться не более как литературный прием, с помощью которого до современника доводилась идея неизбежности трудного и страшного конца Римской империи. Главный же кайф современник должен был ловить, узнавая знакомую атрибутику римской иерархии, римской персоналии, римской инфраструктуры в чудовищных образах Зверя, железной саранчи и прочего. Во всяком случае, когда в конце шестидесятых Прохор, переводя с листа, читал Иоанну-Агасферу избранные отрывки из своего Апокалипсиса, пророк хлопал себя по коленям от удовольствия и, похохатывая, приговаривал: «Да, сынок, тут ты их поддел, ничего не скажешь, молодец…» А когда чтение закончилось, он, сделав несколько чисто стилистических замечаний, предрек: «Имей в виду, Прохор, этой твоей штуке суждена очень долгая жизнь, и много голов над ней поломается…»

Конечно, сейчас, спустя две тысячи лет, никто уже не способен воспринимать Апокалипсис Прохора как политический памфлет. Но ведь и другое великое явление мировой литературы, «Божественную комедию» Данте, тоже не воспринимают как политический памфлет, хотя и задумана, и исполнена она была именно в этом жанре.

А много лет спустя, когда не было уже ни Прохора, ни прикахтов, ни самой Римской империи, пришла однажды Иоанну-Агасферу в голову странная мысль: не был Апокалипсис Прохора ни мистическим пророчеством о судьбах ойкумены, ни политическим памфлетом, а был Апокалипсис на самом деле тщательно и гениально зашифрованным под литературное произведение грандиозным планом всеобщего восстания колоний-провинций против Рима, титанической диспозицией типа «ди эрсте колонне марширт…»[67], в которой все имело свой четкий и однозначный военно-политический смысл – и вострубление каждого из ангелов, и цвет коней, на коих въезжали в историю всадники, и Дева, поражавшая Дракона… И применена была эта диспозиция впервые (некоей своей частью) во времена Иудейской войны и,

вполне по Л. Н. Толстому, обнаружила при столкновении с реальностью полную свою несостоятельность.

20. Самым трудным оказалось взгромоздить эту проклятую картину на наш этаж. Она оборвала мне руки, с меня семь потов сошло, два раза я ронял шапку, всю извалял в грязи и пыли. Я оцарапал щеку о золоченый багет. Где-то на середине подъема стекло хрустнуло, и сердце мое оборвалось от ужаса, однако все кончилось благополучно. Задыхаясь, из последних сил, я протащил картину через коридор, внес в Комнату и прислонил к стене: полтора на полтора, в тяжеленном багете и под стеклом.

Пока я переводил дух, утирался, отряхивал шапку, еле шевеля оторванными руками, из столовой появился Агасфер Лукич – прямо из-за стола. Он что-то аппетитно дожевывал, причмокивая, пахло от него жареным лучком, уксусом и кинзой.

– М-м-м! – произнес он, остановившись перед картиной и извлекая из жилетного кармана зубочистку. – Очень неплохо, очень… Вы знаете, Сережа, это может его заинтересовать. Дорого заплатили?

– Ни копейки, – сказал я, отдуваясь. – С какой стати? А если не подойдет?

– И как это все вместе у нас называется?

– Не помню… Мотоцикл какой-то… Да там написано, на обороте. Только по-немецки, естественно.

Агасфер Лукич живо сунулся за картину, весь туда залез, так что только лоснящаяся задница осталась снаружи.

– Ага… – произнес он, выпрастываясь обратно. – Все понятно. «Дас моторрад унтер дем фенстер ам зоннтаг морген». – Он посмотрел на меня с видом экзаменатора.

– Ну, мотоцикл… – промямлил я. – В солнечное утро… Под дверями, кажется…

– Нет, – сказал Агасфер Лукич. – Это живописное произведение называется «Мотоцикл под окном в воскресное утро».

Я не спорил. Некоторое время мы молча разглядывали картину.

На картине была изображена комната. Окно раскрыто. За окном угадывается утреннее солнце. В комнате имеют место: слева – развороченная постель с ненормальным количеством подушек и перин; справа – чудовищный комод с выдвинутым ящиком, на комоде – масса фарфоровых безделушек. Посередине – человек в исподнем. Он в странной позе – видимо, крадется к окну. В правой руке его, отведенной назад, к зрителю, зажата ручная граната. Все. В общем, понятно: аллегорическая картина на тему «Береги сон своих сограждан».

– Больше всего ему должна понравиться граната, – убежденно произнес наконец Агасфер Лукич, вовсю орудуя зубочисткой.

– «Лимонка», – сказал я без особой уверенности. – По-моему, у нас они давным-давно сняты с вооружения.

– Правильно, «лимонка», – подтвердил Агасфер Лукич с удовольствием. – Она же «фенька». А в Америке ее называют «пайн-эппл», что означает – что?

– Не знаю, – сказал я, принимаясь снимать пальто.

– Что означает «ананаска», – сказал Агасфер Лукич. – А китайцы называли ее «шоулюдань»… Хотя нет, «шоулюдань» – это у них граната вообще, а вот как они называли «Ф-1»? Не помню. Забыл. Все забывать стал… Обратите внимание, у нее даже запал вставлен… Очень талантливый художник. И картина хорошая…

Я оставил его любоваться произведением живописи, а сам вернулся в прихожую повесить пальто. И вообще переоделся в домашнее. Когда я вернулся, Агасфер Лукич по-прежнему стоял перед картиной и разглядывал ее через два кулака, как детишки изображают бинокль.

– Но, во-первых, – сказал он, – во-первых, я не вижу мотоцикла. Мало ли что он пишет «дас моторрад», а на самом деле там у него, скажем, шарманщик. Или, страшно сказать, ребя-

тишки с гитарой… Это во-первых. А во-вторых… – Глаза его закатились, голос сделался страдальческим. – Статично у него все! Статично! Воздух есть, свет, пространство угадывается, а движение где? Где движение? Вот вы, Сережа, можете мне сказать – где движение?

– Движение в кино, – сказал я ему, чтобы отвязаться. Мне очень хотелось есть.

– В кино… – повторил он с неудовольствием. – В кино-то в кино… А давайте посмотрим, как у него дальше там все развивается!

Человек на картине пришел в движение. Он хищно подкрался к окну, кошачьим движением швырнул наружу «лимонку» и бросился животом на пол под подоконник. За окном блеснуло. На нас с Агасфером Лукичом посыпался с потолка мусор. Звякнули стекла – в нашем окне. А за тем окном, что на картине, взлетел дым, какие-то клочья, и взвилось мотоциклетное колесо, весело сверкая на солнце многочисленными спицами.

– О! – воскликнул Агасфер Лукич, и картина вновь застыла. – Вот теперь то, что надо. Ясно, что мотоцикл. Не шарманщик какой-нибудь, а именно мотоцикл. – Он снова сделал из кулаков бинокль. – И не вообще мотоцикл, Сережа, а мотоцикл марки «цундап». Хороший когда-то был мотоцикл… – Он возвысил голос. – Кузнец! Ильмаринен! Подите сюда на минутку! Посмотрите, что мы вам приготовили… Сюда, сюда, поближе… Каково это вам, а? «Мотоцикл под окном в воскресное утро». Реализовано гранатой типа «Ф-1», она же «лимонка», она же «ананаска». Граната, к сожалению, не сохранилась. Тут уж, сами понимаете, одно из двух: либо граната, либо мотоцикл. Мы тут с Сережей посоветовались и решили, что мотоцикл будет вам интереснее… Правда, забавная картина?

Некоторое время Демиург молчал.

– Могло бы быть и хуже, – проворчал он наконец. – Почему только все считают, что он – пейзажист? Хорошо. Беру. Сергей Корнеевич, выдайте ему двести… нет, полтораста рейхсмарок, обласкайте. Впредь меня не беспокойте, просто берите все, что он предложит… Каков он из себя?

Я пожал плечами:

– Бледный… прыщавый… рыхлое лицо. Молодой, черная челка на лоб…

– Усы?

– Усов нет. И бороды нет. Очень заурядное лицо.

– Лицо заурядное, живопись заурядная… Фамилия у него незаурядная.

– А какая у него фамилия? – встрепенулся Агасфер Лукич и нагнулся к самому полу, силясь прочитать подпись в правом нижнем углу. – Да ведь тут только инициалы, мой Птах. «А» и «Эс» латинское…

– Адольф Шикльгрубер, – проворчал Демиург. Он уже удалялся к себе во тьму. – Впрочем, вряд ли это имя что-нибудь вам говорит…

Мы с Агасфером Лукичом переглянулись. Он состроил скорбную гримаску и печально развел руками.

21. – …Трудно мне вас понять, Агасфер Лукич, – сказал я наконец этому страховому лжеагенту. – Все-то вы толкуете о своем всезнании, а о чем вас ни спросишь, ничего не помните. Апостолов – поименно – не помните. Где у Дмитрия стоял запасной полк – не помните, а ведь утверждаете, будто принимали личное участие… Библиотекарем Иоанна Грозного были, а где библиотека находилась – показать не можете. Как прикажете вас понимать?

Агасфер Лукич выпятил нижнюю губу и сделался важным.

– Чего же тут непонятного? Знать – это одно, а помнить – совершенно иное. То, что я знаю, – я знаю. И знаю я действительно все. А вот то, что я видел, слышал, обонял и осязал, – это я могу помнить или не помнить. Вот вам аналогия нарочно очень грубая. Блокада Ленинграда. Вы знаете, что она была. Знаете когда. Знаете, сколько людей погибло от голода. Знаете про Дорогу Жизни. При этом вы сами там были, вас самого вывозили по этой дороге. Ну и

много ли вы сейчас помните? Вы, который так чванится своей молодой памятью перед, мягко выражаясь, старым человеком!

– Ладно, ладно, не горячитесь, – сказал я. – Понял. Только опять вы все перепутали. Не был я в блокаде. Меня тогда еще и на свет не родили.

22. На небольших глубинах теплых морей, а также в чистых реках Севера обитают на дне хорошо всем понаслышке известные моллюски из класса двустворчатых (бивалвиа). Речь идет о так называемых жемчужницах. Морские жемчужницы бывают огромные, до тридцати сантиметров в диаметре и до десяти килограммов весом. Пресноводные – значительно меньше, но зато живут до ста лет.

В общем, это довольно обыкновенные и невзрачные ракушки. Употреблять их в пищу без крайней надобности не рекомендуется. И пользы от них не было бы никакой, если бы нельзя было из этих раковин делать пуговицы для кальсон и если бы не заводился в них иногда так называемый жемчуг (в раковинах, разумеется, а не в кальсонах). Строго говоря, и от жемчуга пользы не много, гораздо меньше, чем от пуговиц, однако так уж повелось испокон веков, что эти белые, розовые, желтоватые, а иногда и матово-черные шарики углекислого кальция чрезвычайно высоко ценятся и числятся по разряду сокровищ.

Образуются жемчужины в складках тела моллюска, в самом, можно сказать, интимном местечке его организма, когда попадает туда по недосмотру или по несчастливой случайности какой-нибудь посторонний раздражающий предмет – какая-нибудь колючая песчинка, соринка какая-нибудь, а то и, страшно сказать, какой-нибудь омерзительный клещ-паразит. Чтобы защититься, моллюск обволакивает раздражителя перламутром своим, слой за слоем, – так возникает и растет жемчужина. Грубо говоря, одна жемчужина на тысячу раковин. А стоящие жемчужины – и того реже.

Где-то в конце восьмидесятых годов, в процессе непрекращающегося расширения областей своего титанического сверхзнания, Иоанн-Агасфер обнаружил вдруг, что между двустворчатыми раковинами вида П. маргаритафера и существами вида хомо сапиенс имеет место определенное сходство. Только то, что у П. маргаритафера называлось жемчужиной, у хомо сапиенсов того времени было принято называть *тенью*. Харон перевозил тени с одного берега Стикса на другой. Навсегда. Постепенно заполняя правобережье (или левобережье?), они бродили там, стеная и жалуясь, погруженные в сладостные воспоминания о левобережье (или правобережье?). Они были бесконечны во времени, но это была незавидная бесконечность, и поэтому ценность теней как товара была в то время невысока. Если говорить честно, она была равна нулю. В отличие от жемчуга.

Люди того времени воображали, будто каждый из них является обладателем тени. (Так, может быть, раковины П. маргаритафера воображают, будто каждая из них несет в себе жемчужину.) Иоанн-Агасфер очень быстро обнаружил, что это – заблуждение. Да, каждый хомо сапиенс в потенции действительно способен был стать обладателем тени, но далеко не каждый сподобливался ее. Ну, конечно, не один на тысячу, все-таки чаще. Примерно один из семи-восьми.

Некоторое время Иоанн-Агасфер развлекался этой новой для себя реальностью. Азарт классификатора и коллекционера вдруг пробудился в нем. Тени оказались замечательно разнообразны, и в то же время в разнообразии этом угадывалась удивительной красоты и стройности схема, удивительная структура, многомерная и изменчивая. Он углубился в анализ этой структуры. Ему пришлось создать то, что значительно позже будет названо теорией вероятности, математической статистикой и теорией графов. (Он открыл для себя мир математики. Это открытие потрясло его.)

Попервоначалу он обрадовался, обнаружив россыпи теней, как радуется старатель, наткнувшись на золотую россыпь. Он еще не понимал, кому и как он будет сбывать тени,

однако, будучи человеком практичным и безжалостным, радовался тому, что является единственным в ойкумене обладателем некоего редкостного товара. Он стал прикидывать организацию торговой компании. Возбуждение общественного спроса на тени. Массовая скупка товара. Создание рынков сбыта в Риме, в Александрии, в Дамаске, выход по «шелковому пути» к парфянам и дальше, в Китай… Очень скоро это надоело ему. Он пережил свой меркантилизм, как переживают романтическую любовь.

И тогда он вдруг понял, что открыл для себя, чем ему заполнить предстоящую необозримую вечность. Он будет искать, обнаруживать и приобретать все новые и новые жемчужины. Он будет неторопливо, но глубоко познавать механизмы их сродства и взаимоотталкивания, природу их образования и развития, он постигнет закономерности их формирования и, может быть, научится вникать в них, сливаясь и срастаясь с ними. Он научится обустраивать и формировать историю вида хомо сапиенс таким образом, чтобы выращивать именно те виды и сорта жемчужин, которые в данный миг, в данных условиях более всего привлекают и воспламеняют его. Он мечтал уже о селекции и – кто знает? – может быть, о синтезировании их вне раковин… Он загорелся энтузиазмом, будущее его наполнилось. Он был молод тогда и простодушен, все эти планы представлялись ему грандиозными, обещающими все на свете и неописуемо привлекательными. Так в наши дни маленький мальчик мечтает о счастье сделаться водителем мусоровоза.

Весь доступный ему на Патмосе материал он исчерпал в первый же год. Свои первые жемчужины он получил за глоток вина, за обломок ржавого ножа, за ловко рассказанную байку. Они недорого обошлись ему, да они немногого и стоили – мелкий тусклый грязноватый товарец для начинающего дилетанта. Однако жалеть о потерянном времени не приходилось: он отрабатывал технику, он делал первые маленькие открытия в области психологии раковины, он учился точно определять ценность товара, не подержав его в руках. Он учился разглядывать жемчужину сквозь створки. Несколько раз он ошибся. Он познал горечь и радость таких ошибок.

Он давно бы покинул остров, если бы не Прохор.

Прохор, сделавшийся к тому времени сухим, жилистым, козлообразным старикашкой, облезлым, вонючим, высокомерным, драчливым, брюзгливым, вызывающе неопрятным, – этот Прохор оказался носителем жемчужины удивительной, фантастической красоты!

Апокалипсис Прохора под именем «Откровение пророка Иоанна» уже вовсю ходил в самиздате и был знаком тысячам и тысячам знатоков и ценителей, фанатиков и скептиков. Первые яростные толкователи его уже появились, и появились первые его мученики, распятые при дорогах или зарезанные на базарных площадях. Имя Иоанна гремело. Что ни месяц, на острове появлялся новый адепт, чтобы припасть к ногам пророка, поцеловать край его лохмотьев и вкусить от его мудрости из уст в уши. Как правило, были они все безудержно фанатичны, неумны и слышали только то, что способны были воспринять жалкими своими извилинами. По сути дела, это были глухие. Иоанн отправлял их к Прохору.

Сначала Прохор стеснялся навязанной ему роли. Потом попривык и только строго поправлял паломников, когда те пытались называть его Иоанном. А спустя какое-то время и поправлять перестал. Что и говорить, из них двоих именно Прохор был более похож на пророка. Ведь Иоанн не старился, он так и оставался крепким сорокапятилетним мужиком с разбойничьими глазами, без единого седого волоска в бороде, и весь облик его ничего иного не выражал, кроме готовности в любую минуту обойтись с любым собеседником без всяких церемоний.

Году этак в девяностом Прохор уже впал в старческий маразм. Гордыня окончательно помутила его мозги. В состоянии помутнения повадился называть он Иоанна Прохором и даже Прошкой, пытался ему диктовать свое евангелие, которое должно было стать лучше всех других, известных к тому времени, вариантов описания жизни Учителя, самым полным, самым

точным, самым содержательным в идейном отношении. При этом имелось в виду, что в конечном итоге оно самым естественным образом станет единственным. В минуты просветления он плакал, пытался возлечь на грудь Иоанна, каялся в непомерном своем честолюбии и жадно выспрашивал все новые и новые подробности времен ученичества Иоанна в звании апостола.

Его можно было понять. Он был стар. Он проделал огромную и замечательную работу, написав Апокалипсис. Он привык изображать Иоанна, и больше всего на свете хотелось ему теперь хотя бы остаток жизни своей прожить не просто признанным, но и подлинным Иоанном Боанергесом.

Идея сделки лежала на поверхности. Иоанн сделал осторожное предложение. Предложение было принято немедленно. Совесть каждого смущенно улыбалась. Каждому казалось, что он получил теленка за курицу. Они расстались, довольные собой и друг другом, – облезлый козлообразный пророк Иоанн отправился принимать очередную делегацию паломников из Эфеса, а крепкий и агрессивный Агасфер, держа под мышкой узелок с жемчугами, спустился в гавань и купил место на первый же баркас, уходящий к материку.

Начинался новый, бродячий период жизни Агасфера, Вечного Жида, Искателя и Ловца Жемчуга Человечьего.

Десяток лет спустя, находясь в Йасрибе, в славной лагуне человечьего моря, полной жемчуга, он узнал от Ибн-Кутабы, странствующего поэта и новообращенного христианина, что святой Иоанн по прозвищу Богослов, великий пророк и один из апостолов Иисуса Христа, скончался в девяносто восьмом году в Эфесе.

Замученный жаждой посмертной славы, неутолимый Прохор даже помереть себе не позволил впросте, по-человечески. Он велел закопать себя живьем при большом стечении народа.

Воистину, прав был Эпиктет, сказавши: «Человек – это душонка, обремененная трупом»[68].

23. Теперь их было уже трое. И у каждого…

Дневник. Уже 20 июля. Ночь, 1.30

Около одиннадцати позвонил снизу Ваня Дроздов и предложил встретиться. Срочно. Мы встретились в «Кабачке», и он с ходу объявил мне: «Ну, все. Доигрались вы со своим Носовым». Он был взвинчен до последней степени, я даже перепугался. Оказалось (по его словам), что статья Г. А. привела город в необычайное враждебное возбуждение. Все теперь жаждут его крови, а заодно жаждут стереть с лица земли наш лицей. Как рассадник и гнездо. Завтра с утра ждите пикетов, и еще скажите спасибо, если это будут пикеты от нашего молокозавода, у нас все-таки нет таких обалдуев, как на крупнопанельном или там, на «тридцатке». Г. А. одного в город не выпускать – ни в коем случае, рядом чтобы не меньше трех мужиков, да поздоровее, не таких, как ты…

Он меня, признаться, совсем запугал было, но я не дался и сказал ему: что ты мелешь, мы с Г. А. весь день по городу ходили, что ты панику разводишь, паникер? «Это вы сегодня ходили, – сказал он. – Завтра уже не походите. Ты вообще-то знаешь, что в городе делается? Про детскую демонстрацию знаешь?» Я сказал, что знаю, потому что решил, что речь идет про ребятишек из специнтерната. Однако оказалось совсем не то.

Оказалось, что эти гады из управления пионерлагерей посадили с три сотни детишек в автобусы, свезли на площадь перед горсоветом и устроили там отвратительный цирк. Между прочим с полного одобрения огромной толпы идиотов-родителей. Ребятишкам сунули в лапы какие-то дурацкие лозунги, заставили их выкрикивать какие-то дурацкие требования, а вокруг бесновались наши доблестные добры молодцы, порывавшиеся бить в горсовете стекла. Все это Ваня видел своими глазами, потому что стоял в оцеплении и всячески добрых молодцев урезонивал.

Длился этот пандемониум минут двадцать, а потом на своей «ноль сорок третьей» примчалась ураганом красотка Рива и учинила всеобщий разгон. Детишек в два счета повезли в Ташлинский Центр смотреть новейшую серию «Термократора», родители были расточены и разогнаны, добры молодцы обратились в бегство, а всех остальных Рива уволила на месте. Осталось одно оцепление. Оно постояло-постояло и пошло на работу.

Рассказ этот вызвал у меня самые неприятные ощущения. С одной стороны, конечно, силы разума победили, а с другой – дикость ведь, двадцатый век! Главное, я никак не мог понять: зачем была эта демонстрация? Что им было надо? И кому, собственно? Иван утверждает, что город недоволен мэром. Весь город настроился на «субботник», все уже готово, а мэр тянет и тянет. Надо его подхлестнуть, труса мордастого. Вот его и подхлестывают.

«А ты-то куда смотришь? – спросил я, ощутивши вдруг приступ неописуемой злости. – Тоже на “субботник” настроился? А ведь я тебя держал за приличного человека». И мы тут же поцапались.

Ни в чем я его убедить не смог – может быть, потому, что сам потерял ориентировку. Все-таки это довольно нелепая ситуация – ты говоришь: «Так делать нельзя», а когда тебя спрашивают: «А как нужно?», – ты отвечаешь: «Не знаю».

В конце концов Иван угрюмо сказал: «Ладно. Я сюда не спорить с тобой пришел. У тебя свое, у меня свое. Ты про Носова своего все понял, что я тебе сказал?» Я ответил, что не верю во всю эту чушь. Г. А. в городе – человек номер один, тут и говорить не о чем. Иван возразил мне, что это вчера Носов был человек номер один, а нынче он и на шестерку еле-еле тянет. «Я тебя предупредил, дурака, – сказал он мрачно. – А там уж как знаете».

На том мы и расстались, и я сразу же побежал к Г. А. Оказалось, что у Г. А. в кабинете собрались все. Пока я разговаривал с Иваном, Г. А. сам собрал всех у себя. Он получил ту же информацию по своим каналам и теперь инструктировал нас, как нам должно себя вести в сложившейся ситуации. Спокойствие, выдержка, достоинство. В город выходить только по

двое. Девочек – сопровождать. Но! Силовые приемы – только в самых крайних случаях. Субакс не использовать вообще. Говорить, объяснять, спорить. Ситуация хотя и не уникальная, но в наше время достаточно редкая: дискуссия с враждебно настроенной толпой – не с коллективом, а с толпой. Хорошая практика. Такой редкий случай мы упускать не имеем права. И так далее.

Я встал и поднял вопрос о его, Г. А., безопасности. В конце концов, главная злоба города направлена не против нас, не против лицея, а против Г. А. лично. К моему огромному изумлению, Г. А. тут же согласился, чтобы его при выходе в город сопровождал эскорт. Однако при этом он тут же добавил: мы должны знать и помнить, что не только он, Г. А., но и наш лицей как учреждение определенного типа давно уже является бельмом на глазу у некоторой части городского чиновничества. Поэтому в будущих дискуссиях мы должны быть готовы защищать и отстаивать право и обязанность нашего лицея на существование. «То, что под ударом сейчас оказался я, – это полбеды, а самая беда в том, что кое-кто использует ситуацию, чтобы поставить под удар наш лицей и всю систему лицеев вообще».

(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Напоминаю: действие происходит в самом начале тридцатых. Вот-вот появится печально знаменитое постановление Академии педнаук о слиянии системы лицеев с системой ППУ, в результате чего долгосрочная правительственная программа создания современной базы подготовки педагогических кадров высшей квалификации окажется подорванной. Глухая подспудная борьба, имевшая целью уничтожение системы лицеев, шла с конца двадцатых годов. Основное обвинение против лицеев: они противоречат социалистической демократии, ибо готовят преподавательскую элиту. По сути дела, антидемократическим объявлялся сам принцип зачисления в лицеи – принцип отбора детей с достаточно ярко выраженными задатками, обещающими – с известной долей вероятности – развернуться в педагогический талант. Ташлинский лицей оказался только первой жертвой тогдашней АПН.)

Потом разговор перекинулся на статью. Выяснилось, что все мы восприняли ее по-разному. Но самым разным оказался, как всегда, наш Аскольдик. Он объявил, что эта статья есть большая ошибка Г. А. Ни в какой мере не затрагивая основных положений этой статьи, с коими он вполне согласен, он тем не менее хочет подчеркнуть, что Г. А. выступил здесь как поэт и социолог, в то время как от него (по мнению Аскольдика) требовалось выступление педагога и политика. В результате вместо того, чтобы утихомирить взбушевавшуюся стихию, он возбудил ее еще больше.

Г. А. возразил, что у него и в мыслях не было кого бы то ни было утихомиривать, он ставил перед собой совсем другую задачу – заставить задуматься тех людей, которые способны задуматься.

В ответ на это вконец распоясавшийся Аскольд объявил, что и эту свою задачу Г. А. не выполнил. Своей статьей он ухитрился оскорбить весь город, чуть ли не каждого доброго гражданина, так что десять человек в городе, может быть, и задумались, но зато десять тысяч только вконец остервенились.

Г. А. не стал с ним спорить. «Десять задумавшихся – это совсем не так мало, – сказал он примирительно. – Дай бог каждому из вас на протяжении всей жизни заставить задуматься десять человек. Не к народу ты должен говорить, – продолжал он, возвысив голос с иронической торжественностью, – но к спутникам. Многих и многих отманить от стада – вот для чего пришел ты… Откуда?» Никто не знал, и Г. А. сказал: «Ницше[69]. Это был большой поэт. Однако ему весьма не повезло с поклонниками».

И велел всем нам идти спать.

20 июля. 11 утра

Мы в осаде.

В семь утра нас поднял на ноги дикий рев, лязг, гром, одним словом, оглушительная какофония. Я бросился к окну. Вдоль всего фасада растянулась толпа прилично одетых павианов. Добры молодцы. Человек двести, наверное. Все кривляются, все размахивают конечностями и неслышно орут на нас. У каждого функен, включенный на полную мощность, и, кроме того, они приволокли еще десяток стационарных звучков, каждый ватт на сто, и эти звучки тоже работают вовсю. Надо же – не поленились! Не поленились притащить звучки, не поленились подняться в такую рань, не поленились намалевать плакаты. На плакатах: «Носов, убирайся из города!», «Долой дворянское гнездо[70]!», «Лицеисты, стыдно! Вы должны быть с нами!». Морды потные, налитые, волосы дыбом, как у диких, пасти разинуты, но что орут – ничего не слышно за музыкой.

Между ними и лицеем вдоль тротуара стоят редкой цепочкой спиною к нам ребята из городского патруля. (Не без удовольствия узнал я среди них Сережку Сенько, Рената Гияттулина, Рейнгарта Хансена с биологического и – с особенным удовольствием – Ивана моего родимого Дроздова.) Не знаю, как уж они там договорились с добрыми молодцами, но те ближе чем на два шага к ним не приближаются. Не сразу заметил я в сторонке два «лунохода» и кучку милиционеров. Угрюмых. Происходящее им явно не нравится. Издержки демократии.

Сначала все это показалось мне скорее забавным. Потом, когда я познакомился с лозунгами, я испытал сильнейший приступ естественного раздражения. Но страха вначале не было совсем, это я помню точно.

Однако пять минут спустя мне пришлось принять участие в нелегкой процедуре обуздания и остужения нашего Аскольда. Будучи настоящим суперменом и чемпионом города по субаксу, он побелел лицом, выпятил челюсть и танком двинулся вниз по лестнице к выходу – наводить порядок. Исполненный железной твердости, беспощадной последовательности и абсолютной непримиримости. Девчонки с визгом повисли на нем с двух сторон, но он их даже и не заметил. Пришлось тут уж и мне тряхнуть стариной, и только втроем мы сначала притормозили, а в вестибюле и остановили его неудержимое движение. Румянец вернулся ему на щеки, он принес нам извинения за свою горячность, и мы все направились к Г. А.

И вот тут на меня накатило. Воображение мое ни с того ни с сего нарисовало мне картину, как Аскольдик вырывается от нас, врезается в толпу, и что тогда начинается? Лишь в этот момент я понял, что ничего забавного у нас тут не происходит, что все держится на волоске, и стоит этому волоску лопнуть, как волна зверства захлестнет и нас, и ребят из патруля, и милицию, – не только в том смысле, что зверье растерзает нас, но и в том смысле, что мы все сами сделаемся зверьми.

(Страшная штука – неуправляемое воображение. Я уверен, что и Аскольдика подвело именно оно. Выглянул он в окошко, увидел это кишение зверья и испытал страх – но, будучи суперменом, бросился выбивать клин клином, с каждым шагом к выходу сам все более превращаясь в зверя.)

Пока мы шли к Г. А., мне объяснили, что лицей, оказывается, пуст. Кроме нас в здании никого нет. Ни повара, ни библиотекаря, ни дежурного преподавателя – никого. Только Серафима Петровна не испугалась. Даже ночной вахтер таинственно исчез. Видимо, драпанул через хозяйственный выход.

Г. А. спустился нам навстречу. Он был совершенно такой, как всегда. Последовали распоряжения. Зойке и Аскольду – отправиться на кухню, готовить завтрак, а заодно и обед. Серафима Петровна уже там, будете на подхвате. Остальным заниматься своими делами. Кстати, где наш де Сааведра?

Де Сааведра тут же появился. Оказывается, все это время он торчал на крыше и снимал осаду на видеопленку, правда, к сожалению, без акустики. Смешной он был – встрепанный, в одних трусах, и аппарат на ремне, как автомат. Г. А. посмотрел на него с одобрением и продолжал: к окнам желательно не подходить. То есть если очень интересно, то подходить, разумеется, можно, но при этом языки не показывать, козу не делать и вообще не совершать аллегорических телодвижений[71]. Стекол жалко.

Мы разошлись по постам.

Пневмопочта работает. Я просмотрел газеты. Признаюсь, с отвращением. Все-таки настолько всеобщего взрыва озлобления и неприязни я не ожидал. В рамках держалась только «Ташлинская правда». Все же прочие наши газеты шипели и плевались, как ошпаренные коты.

Деятельность, несовместимая с высоким званием народного педагога… Проповедь ложных утверждений, противоречащих самым высоким идеалам социализма… Ядовитая проповедь провозглашения (проповедь провозглашения!) мира между трудом и тунеядством… Претензии на роль некоего гуру, проповедующего новую религию, проповедь взглядов, идейно разоружающих строителей коммунизма… Приговоры: запретить преподавательскую деятельность; выгнать на пенсию; в двадцать четыре часа выдворить из города – через посредство административной высылки в установленном порядке…

Более всего неистовствуют, конечно, наши обожаемые хрипуны. Но совсем ненамного отстают от них господа наробразовцы, молодежные вожди, заместители деканов и вообще кадровики всех мастей. Несколько рабочих с «тридцатки», пара мастеров-наставников с крупнопанельного и даже трое каких-то неедяк, видимо, насмерть перепуганных размахом происходящего. И уж совсем ни к селу ни к городу – военный комендант.

Что характерно: Ревекка не выступила. Милиция промолчала. Горсовет практически промолчал. Такое впечатление, что весь этот рык и рев – действительно глас народа. Видимо, Г. А. своей статьей попал в самое больное место, я даже не понимаю, в какое именно. О Флоре – почти ни слова. Такое впечатление, что про нее забыли совсем. Мне даже пришло в голову, что Г. А., может быть, нарочно выступил со своей статьей, чтобы перевести огонь на себя. Чтобы они оставили в покое Флору и разрядились на него.

В нескольких газетах встретились мне какие-то непонятные намеки. Можем ли мы доверять подготовку будущих педагогов человеку, который оказался столь беспомощным в своих собственных, личных делах? Не следует ли предположить, что трогательная забота о тунеядствующей Флоре вызвана соображениями, совершенно личными, весьма далекими от философии, социологии, педагогики? И снова: не следует ли Г. А. Носову разобраться сперва с собственными, частными делами, а потом уже заниматься общественными?

Я показал эти места Мишелю. Он странно взглянул на меня и спросил: «Ты что – не знаешь, что ли?» Я не знал. «Вырастешь, Ига, узнаешь»[72], – пробурчал Михей, и я вдруг понял, что узнать не хочу. Это какая-то гадость, ну ее к черту.

Ура! Наконец-то наш Ташлинск попал в центральную прессу. Не могу отказать себе в удовольствии – цитирую дословно из «Известий»:

«Ташлинск, 19 июля. На два месяца раньше срока запущена полностью автоматизированная линия по производству высококачественных брынз на Ташлинском молочном комбинате имени Емельяна Пугачева…» и так далее.

А мы-то, дураки, тут переживаем!

Имеет место определенная эволюция звуков, раздающихся снаружи. Сначала была просто сумасшедшая какофония. Потом им это надоело (сами, видимо, оглохли), и они принялись развлекаться: громовыми голосами читали избранные выдержки из сегодняшних газет. Тоже надоело. Принялись паясничать: «Внимание, внимание! Через пять минут здание лицея будет взорвано на воздух! Предлагается всем находящимся в здании капитулировать. Выходить без оружия по одному с интервалом в тридцать секунд, держа руки за головой. Первым выходит

Носов, лично…» На этом месте диктора окончательно разбирает смех, и окрестности оглашаются громоподобным фырканьем и хрюканьем. Это им тоже надоело, и сейчас они гоняют Джихангира. Несколько сцепок пустились в пляс.

Аскольд наладил мегафон и предложил Г. А. выступить. «Чтобы они не думали, будто мы испугались и прячемся». Г. А. резко ответил: «Нет. Мне все равно, что они думают. Я не люблю их сейчас. Я не хочу с ними разговаривать».

Рукопись «03» (23–25)

23. Теперь их было у нас уже трое, и у каждого был свой кабинет. В кабинете каждый из них спал, принимал пищу и посетителей, а также писал меморандумы, докладные, наставления, рекомендации, замечания и представления. Кроме того, у каждого был свой столик на кухне.

Кабинет Колпакова был светел, чист и пустоват. Петр Петрович был аскет. Канцелярский стол с двумя аккуратными пачками брошюр и справочных изданий. Железный ящик-сейф справа от стола. В углу за скромной ширмой – скромная раскладушка, застеленная серым шерстяным одеялом. У изголовья простая тумбочка, а на ней – Библия в издании Московской патриархии. Простой – и даже простейший – стул за столом и два таких же простейших стула у стены напротив стола. Голые стены: ни портретов, ни картин. Скромность и достоинство. Трезвость и целеустремленность. Умеренность и аккуратность. И чемодан с самым обыкновенным барахлом – под койкой.

Парасюхин же был апологетом безудержной роскоши. Он спешил жить. Он дорвался. Из моей приемной Марк Маркович уволок (сам, лично, обливаясь потом, задыхаясь и хрипя, иногда даже попукивая от нечеловеческого напряжения): половину чудовищной, невообразимой кровати; два телевизора цветного изображения; два застекленных шкафа невыясненного назначения; книжную стенку вместе с муляжами книг; толстый рулон весом тонны в полторы (это оказались ковры, я думал, он умрет под этим рулоном, но он уцелел); картину с Сусанной, старцами и пенисом. Он порывался уволочь кресло для посетителей, но я запретил ему это делать, и тогда он уволок кресло со стальным шипом. Из платяного шкафа были им изъяты и унесены: плащ болонья (испачканный), мужской костюм-тройка (новый, на три размера меньше, чем ему требовалось), мохнатое пальто мужское (одно), мужские сорочки разноразмерные (двенадцать, дюжина), бюстгальтеры женские разноразмерные (семь)… Много чего он уволок, мне в конце концов надоело за ним записывать, и я только следил, чтобы он не упер что-нибудь из моего рабочего инвентаря.

В результате кабинет Парасюхина блистает роскошью, словно комиссионный магазин. Ковры. Роскошные покрывала. Огромный письменный стол с огромным письменным прибором (представления не имею, откуда он это-то припер), на одной стене – Сусанна в тяжелой золоченой раме, на другой – портрет святого Адольфа, украшенный дубовыми листьями и черной муаровой лентой в знак вечного траура по великому человеку, над роскошной постелью – бессмертное творение кисти великого человека «Дас моторрад унтер дем фенстер ам зонн-таг морген». Кресло с шипом приспособлено для посетителей: на шип положена крышка от унитаза, а поверх крышки – подушка-думка с вышитой надписью «Кто рано встает, тому Бог дает». В дальнем углу – огромное старинное зеркало, местами потемневшее, – перед ним Марк Маркович репетирует свои будущие речи. Пафос и верность. Нордическая лень и неколебимая уверенность. Славянская широта и арийский гемютлихькайт. И запашок, как в борделе.

А вот кабинет, или, точнее, обиталище, Матвея Матвеевича Гершковича (Мордехая Мордехаевича Гершензона) являл собой типичный интерьер одинокого пенсионера районного значения. Здесь постоянно, а также сильно пахло сердечными каплями и вчерашней едой. Подоконник здесь был вечно заставлен кастрюльками, судками и особыми баночками – Матвей Матвеевич никогда ничего не оставлял на кухне из опасения, что кто-нибудь подкинет ему в бульон чего-нибудь трефного. (Не то чтобы он был таким уж верующим, но всю жизнь свою он прожил по коммунальным квартирам, а это, знаете ли, накладывает свой отпечаток.)

Если, войдя, вы видели, что в левой половине помещения пол натерт и блестит, на аптечной тумбочке – ни пылинки, а лекарственные пузырьки расставлены строго по ранжиру, зеркало платяного шкафа свежепромыто, фикус в углу тщательно полит и даже обрызган из

специального пульверизатора, то в правой половине комнаты обязательно будет безобразно развороченная постель, стул будет помещен на столе вверх ножками, огромный дедовский сундук неаппетитно распахнут, и лезут из него через край какие-то сиреневые фланелевые предметы, пол замусорен мятыми бумажками, просыпанными кнопками и высохшими стержнями из-под авторучек, а сам Матвей Матвеевич сидит среди всего этого на банной скамеечке, взлохмаченный и восторженный, и в который уже раз с наслаждением перечитывает роман «Во имя отца и сына»[73].

В этом весь Матвей Матвеевич. Ему никогда не хватает выдержки и целеустремленности, чтобы убрать свою комнату от альфы до омеги. Он теоретик. Он великий моралист-теоретик. В теории он беспощаден, жесток, непреклонен и мстителен безгранично. Как сам Иегова. Око за око, зуб за зуб. Поднявший меч от меча да погибнет. Если враг задирает, его уничтожают[74]. Мне отмщение, и только мне[75]… Казалось бы, дай ему волю, – и полмира насилья ляжет в дымящихся развалинах[76]. Но не хватает целеустремленности, черт ее подери совсем. Мешает, черт ее подери совсем, природная незлобивость, а также врожденная убежденность, что два взрослых человека всегда могут договориться между собой. Поэтому перехода от теории к практике не происходит у Матвея Матвеевича никогда. Если бы Матвею Матвеевичу хоть раз в жизни привелось бы воплотить в реальность хоть один из своих страшных лозунгов, я думаю, он перепугался бы до икоты, а может быть, и совсем бы умер от огорчения, что так нехорошо получилось.

Он из тех знаменитых евреев, которые способны вызвать приступ острого антисемитизма у самого Меира Кахане или даже у теоретика сионизма господина Теодора Герцля. Он является утром на кухню и принимается назойливо докладывать непроспавшемуся и злобному Парасюхину, что совсем уже почти договорился со вдовой из дома напротив, так она ему устроит пансион. Пять рублей в день, ну и что? Это недорого. Обед и ужин, а завтракать он будет здесь, он всегда имеет возможность достать свежие яички и другие молочные продукты. В конце концов, если ему покажется недостаточно, так он всегда сможет прикупать. Пусть другие берут яйца по рубль тридцать. Вот я вижу, вы всегда берете яйца по рубль тридцать. А я могу брать по девяносто, и они будут лучше, чем ваши. Ваши битые, а у меня будут целые, хорошие яички. Вы – молодой человек, вы этого не понимаете, что главное – это устройство с питанием…

Кто может выдержать такое? Разве что Петр Петрович Колпаков. Он стоит к Матвею Матвеевичу вполоборота, вежливо улыбается и корректнейше кипятит себе молоко в кастрюльке. Видимо, он глубоко и тщательно обдумывает вопрос, куда ему отнести Матвея Матвеевича. К злакам или к плевелам? К агнцам или к козлищам? Истребить его в запланированном армагеддоне или, наоборот, возвысить?

Непроспавшийся же и злой антисемит Парасюхин, конечно же, не выдерживает. В кухне становится черным-черно, как в известном письме известного писателя известному историку[77].

Однако в отличие от известного историка Матвей Матвеевич (Мордехай Мордехаевич) ни эвфемизмов, ни аллюзий, ни литературных реминисценций не понимает. Он улавливает только общую идею о том, что весь мир заполонили дурные, своекорыстные люди, везде блат, по знакомству можно достать все, а без знакомства человек ничто – особенно, если он не сумел как следует устроиться с питанием.

Он живо подхватывает и развивает эту идею, и тогда Марек Парасюхин, прикованный к газовой плите необходимостью помешивать овсяную кашу, чтобы не подгорела, и потому лишенный даже возможности бежать, заткнувши уши, испускает из себя освященную веками нутряную исступленную жалобу: «Да господи же боже мой! Ну нигде же нет от них спасения! Куда ни сунься – везде ведь они!»

Простодушный Матвей Матвеевич уже заранее кивает, готовый согласиться и с этим утверждением, но тут на кухне объявляется слегка встрепанный после душа Агасфер Лукич.

В правой руке у него чашечка кофе, в левой – бисквитик, а на устах – бессмертное: «Если в кране нет воды, значит, выпили жиды…»

Происходит двойной взрыв. Парасюхин взрывается потому, что усматривает в дурацкой частушке Агасфера Лукича злобный выпад против проверенных веками, глубоко теоретически обоснованных и животрепещущих установок и выводов по известному вопросу. Матвей же Матвеевич взрывается, потому что начисто лишен даже самого элементарного чувства юмора и в дурацкой частушке усматривает недвусмысленное и очевидное оскорбление своего национального достоинства.

Дуэт:

– Здесь нет ничего смешного, Агасфер Лукич! Довольно странно, что вы, при вашем опыте, при ваших знаниях, норовите отделаться шуточками, когда речь заходит об угрозе всей славянской цивилизации! Ведь вы же русский человек! Что вы тут нашли смешного? Да, выпили! Если нет воды, значит, именно они и выпили! В прямом или в переносном смысле! И ничего смешного!..

– Что значит – жиды? При чем здесь опять жиды? Почему у вас во всем и всегда виноваты жиды? Как вам только не стыдно, Агасфер Лукич? Ведь вы же сами – древний еврей! И откуда, интересно, вы взяли, что нет воды? Вода есть, пожалуйста! Пейте! Открывайте кран и пейте!..

Петр Петрович Колпаков неопределенно улыбается, видимо, размышляя, куда ему отнести Марека Парасюхина. Агасфер Лукич доволен. Кухня наполняется ароматом подгоревшей овсянки, и тут вхожу я и, сдерживаясь из самых последних сил, осведомляюсь:

– Слушайте, кто из вас постоянно не спускает воду в унитазе? Вот поймаю, возьму за шкирку и носом – в унитаз, в унитаз!..

Двадцать первый век на пороге. Коммуналка. Тоска. И над всем этим – черным фломастером по белому кафелю кухонной стены – напоминание: «Lasciate ogni speranza»[1].

Что держит меня здесь? На что я еще надеюсь? Почему давным-давно не сбежал?

Держит что-то. Надеюсь на что-то. Чего-то еще жду.

Вообще странные вещи происходят со мной в последнее время. Видимо, я так сжился со всеми этими людьми и настолько пропитался атмосферой наших поганых чудес, что почти воочию могу наблюдать любого из них в любой момент и сквозь любые стены.

Вот сейчас, например. Пожалуйста. Я пишу в своей каморке и точно знаю, что за четыре стены от меня Парасюхин сидит на своей роскошной постели со шлюхой, которую он привел с «плешки». Я не слышу его слов, однако знаю откуда-то, что рассказывает он ей о преимуществах настоящего арийского и в особенности – славяно-арийского полового аппарата в сравнении с таковым же любого унтерменша, будь то косоглазый азиат или (в особенности) какой-нибудь пархатый семит. Шлюха, немолодая, утомленная, курит длинную шведскую сигарету и слушает его вполуха. О половых аппаратах она знает все.

Сегодня шестнадцатое ноября. Опять. И опять все та же слякоть на мостовых и падающий с серого неба то ли дождь, то ли снег.

А может быть, это Сверхзнание начинает прорастать во мне, превращая меня в нового Агасфера?..

24. Разговор начался с того, что Агасфер Лукич, сияя, как блюдо с красной икрой под яркой люстрой, явился предо мною и с легким поклоном протянул номер журнала в знакомой обложке. Это был последний «Астрофизикл джорнэл», и он по крайней мере наполовину был посвящен моим «звездным кладбищам».

Ганн, Майер и Исикава, независимо друг от друга, приносили извинения за неточности, допущенные ими ранее в их прежних публикациях на эту тему, и наперебой сообщали о наблю-

[1] «Оставь всякую надежду». (*Данте*. Ад. Песнь третья).

дениях, подтверждающих самые разнообразные следствия эффекта, предсказанного доктором Манохиным. Запущенный в начале ноября «Эол» сделал свое дело.

Ничуть не отставая от них, Семен Бирюлин, используя данные нашего «Луча», подтверждал мои «кладбища» в миллиметровых волнах и теоретически предсказывал, как это будет выглядеть в субмиллиметровых. И Карпентер тут же подтверждал, что в субмиллиметровых все выглядит именно так. И еще большая методологическая статья Де-Прагеса… и еще два письма каких-то незнакомых китайцев…

Удивительно, но все это оставило меня совершенно равнодушным. Как будто я не имею и никогда не имел ко всему этому никакого отношения. Как будто никогда я не мучился угрызениями совести, стыдом, ужасом публичного позора, как будто не пошел в свое время в дикую, унизительную и странную службу ради того фактически, чтобы полистать такой вот выпуск «Астрофизикл джорнэл» или хотя бы «Астрономикл лэттэрз».

Столько раз представлял себе, что буду листать его жадно, впиваясь глазами и упиваясь злорадным облегчением и утоленной гордыней, а теперь вот листал его равнодушно, совершенно безразлично и думал более о том, что вот пуговица у меня на манжете оторвалась и ускользнула в рукомойник и теперь вот придется идти по такому дождю со снегом ради одной пуговицы в «Галантерею»…

И когда я поднял глаза на Агасфера Лукича, я обнаружил, что банкетное сияние в лице его значительно потускнело. «Что же это вы, голуба моя?» – с обидой и упреком произнес он и тут же сделал мне выговор.

Известно ли мне, сколько и каких усилий пришлось потратить ему, Агасферу Лукичу, чтобы подвигнуть известное лицо на выполнение этого моего научно-исследовательского каприза? Известно ли мне, какого неестественного напряжения стоило известному лицу сначала понять поставленную задачу, а потом разобраться во всех деталях этой моей совершенно чуждой и неинтересной ему механики? Сколько упреков было обрушено, сколько досады было вымещено, – вообще сколько времени было потрачено, драгоценного, невосполнимого времени известного лица? И наконец, известно ли мне, как близко, на какой последний волосок пришлось подойти известному лицу к той границе, за которой начинается абсолютное небытие, – и все для чего? Для того только, чтобы овеществить, сделать реальностью замысловатый бред, излившийся с кончика шкодливого пера капризного, избалованного теоретика!..

Большею частию все это было мне неизвестно, поскольку ни во что это меня не посвящали, так что я оставался вполне равнодушен под градом его упреков и диатриб. Оказывается, я уже основательно забыл, с чего началась эта моя история. Все былые чувства мои увяли, горечь выветрилась, а яд высох, как говаривал сэр Редьярд Киплинг[78]. Гигантский груз новых впечатлений, нового знания и новой ответственности буквально выдавил, вытеснил, выпарил из меня прежнего С. Манохина с его маленькими амбициями, детскими капризами и совершенно микроскопическими вожделениями. В сущности, я давно перестал быть С. Манохиным. Я был теперь мелким лемуром в безотказном услужении у непостижимого чудовища, только в отличие от фаустовских лемуров[79] я сохранял способность сознавать и все еще пытался разобраться в происходящем, упростить его до такой степени, чтобы оказаться способным его понять и, следовательно, – хоррибле дикту! – влиять на него…

Агасфер Лукич, конечно же, разобрался во всех этих моих мыслях и тут же направил огонь своих реприманд на другой фланг. Оказывается, уже довольно давно я вызываю у него определенное беспокойство. Я плохо ем. Я почти не улыбаюсь. Я перестал шутить. Опыт с женщиной, который Агасфер Лукич произвел, имея в виду мое духовное и физическое здоровье, окончился скорее неудовлетворительно…

Ему, Агасферу Лукичу, совершенно понятна причина этого духовного и физического увядания. Я потерял ориентировку. Я утратил представление о конечных целях. И все это

потому, что с самого начала, вот уже много месяцев, я пребываю в состоянии хронического недоумения по поводу того мира, который окружил меня.

Сначала я (впопыхах и сгоряча) вообразил себе, будто оказался секретарем, мажордомом и лакеем Антихриста, явившегося наконец на Землю с тем, чтобы подготовить процедуру, известную в источниках под названием Страшный суд. Эта безумная при всей своей примитивности идея заметно травмировала мою психику закоренелого атеиста, потому что продралась в мое сознание в результате свирепого сражения между всей совокупностью благоприобретенных материалистических представлений, с одной стороны, и железной логикой наблюдения – с другой. Это было время, когда мое душевное здоровье находилось под самой серьезной угрозой, ибо нельзя последовательному материалисту надолго погружаться в мир объективного идеализма безнаказанно.

К счастью, дальнейшее накопление наблюдаемых данных (скажем, появление в доме таких перлов мироздания, как Марек Парасюхин, участковый Спиртов-Водкин и неописуемая Селена Благая) благополучно разрушили первоначальную апокалиптическую гипотезу. Рассудок мой был спасен, однако ненадолго.

Новая гипотеза сформировалась. Известное лицо из совершенно мифического Антихриста трансформировалось в некоего Космократа, фантастически могущественного, фантастически вездесущего, фантастически надчеловеческого – вообще фантастического, но при этом фантастического научно. Сей Космократ обрушил свое внимание на Землю, имея целью произвести над человечеством некий грандиозный, сами понимаете, эксперимент, суть коего для современного землянина принципиально, сами понимаете, непостижима. И вот собирает он здесь, в этой квартире без номера, людей и людишек, одержимых самыми конкретными идеями, как наилучшим образом ущемить, ущучить, уязвить несчастное человечество. Зачем? А затем, чтобы Космократ в дальнейшем дал бы им всем волю, а сам наблюдал бы интересующие его реакции человечества на все эти ущемления, ущучивания и уязвления.

Именно это мучительное видение несчастного человечества, поверженного на гноище неописуемых страданий, подвергаемого беспощадным и равнодушным вивисекциям, и привело меня сейчас на грань отчаяния и безнадежности, за которыми вновь встает призрак безумия.

Ибо, несмотря ни на что, я все-таки люблю человечество. Несмотря на тупое стремление к самоистреблению этой огромной массы людей. Несмотря на тупое стремление этой массы людей получить самые низменные удовольствия ценою самых высоких наслаждений духа. Несмотря на потоки глупостей, подлостей, мерзостей, предательств, преступлений, уже тысячелетиями порождаемых и извергаемых из себя и на себя этой огромной массой людей. И несмотря, наконец, на совершенную несоизмеримость моей отдельно взятой личности с этим грандиозным явлением природы, частицей которого я, несмотря ни на что, остаюсь.

Любовь, как известно, зла. Она порождает удивительные намерения и провоцирует любящего на поступки противоестественные и благородные, благородные до неестественности, до извращенности даже. Если здесь вообще можно говорить о логике, то она у меня такова: раз уж Космократу так приспичило произвести гигантский эксперимент над миллионами, так, может быть, ему будет благоугодно устроиться таким образом, чтобы совершить миллионы экспериментов над одним? Ведь с научной точки зрения это одно и то же, то есть с научной точки зрения две эти ситуации инвариантны. Дело лишь за искусством экспериментатора, а в нем сомневаться не приходится. Что же касается подопытного материала, то вот он, здесь, перед вами! Грядите и приступайте!

Глядя на меня с жалостью и брезгливым восхищением, Агасфер Лукич всплескивал короткими лапками и повторял: «Какое нелепое простодушие! Какое благородное убожество! Какая несусветная и неуместная мизинтерпретация великого образца! Стыд! Изуверство! Какое беспомощное изуверство!..»

Признаюсь, ему таки удалось расшевелить меня. Это было крайне неприятно – ощущать себя просматриваемым насквозь, да еще глазом бывалого микропсихолога. И в то же время я испытывал определенное облегчение человека, болезнь которого наконец названа и признана пусть тяжелой, стыдной, неприличной, но излечимой. Я искал слова, чтобы достойно ответить, и слышал уже энергические и раздраженные толчки пульса в висках, уже просыпалась во мне целительная злоба, однако нужные слова найти я не сумел, и Агасфер Лукич продолжал.

Откуда у меня эта презумпция зла? Откуда это навязчивое стремление громоздить ужасы на ужасы, страдания на страдания? Что это за инфантильный мазохизм? Разумеется, он, Агасфер Лукич, понимает, откуда у меня все это. Но ведь я же все-таки научный работник, сама профессия моя, сама моя идеология обязывают, казалось бы, смотреть широко, анализировать добросовестно и с особенной настороженностью относиться к тому, что лежит на поверхности и доступно любому полуграмотному идиоту.

По складу ума своего я не способен воздерживаться от построения гипотез относительно всего, что окружает меня. Я не люблю без гипотез, я не умею без них. Ради бога! Но если уж повело меня строить гипотезы, зачем же сразу строить такие ужасные, что меня же самого норовят свести с ума? Почему не предположить что-нибудь благое, приятное, радующее душу?

Почему бы не предположить, например, что известное лицо, вконец отчаявшись затопить Вселенную добром, решило по крайней мере избавить ее от зла? Как мне это понравится: собрать в квартиру без номера всех наиболее омерзительных, безапелляционных, неисправимых и настырных носителей разнообразного зла, а собравши, – утопить в Тускарорской впадине? «Всех утопить!» Фауст. Пушкин[80].

Я ни в коем случае не должен воображать, будто эта гипотеза хоть в какой-то мере соответствует истинному положению вещей. По рангу своему, по своей глубине она столь же убога, как и первые две. Но неужели я не вижу за ней по крайней мере одного преимущества – преимущества оптимизма?

Нетрудно догадаться, что именно помешало мне предпочесть оптимизм всем этим гипотезам барахтанья в тоскливом болоте апокалиптических и псевдонаучных ужасов. Разумеется, уже сам внешний вид известного лица никак не способствует приступам сколько-нибудь радужных чувств. Его неприятная метаестественность. Его грубость. Его брезгливость ко мне подобным. Его истерики. Наконец, его манера таращить глаза, каковая манера даже Агасфера Лукича приводит в рефлекторное содрогание…

Все это так. Но за всем тем не мог же я не заметить его постоянной изнуряющей занятости. Его метаний. Его измученного, но неутолимого любопытства. Не мог же я не заметить на этих изуродованных плечах невидимого мне, непонятного, но явно тяжкого креста. Этой его забывчивости, этих странных его оговорок и невнятных распоряжений… Да в силах ли я понять, что это такое: пребывать сразу во всех восьмидесяти с гаком измерениях нашего пространства, во всех четырнадцати параллельных мирах, во всех девяти извергателях судеб!..

Да в силах ли я понять, каково это: вернуться туда, где тебя помнят, чтут и восхваляют, и выяснить вдруг, что при всем том тебя не узнают! Никто. Никаким образом. Никогда. Не узнают до такой степени, что даже принимают за кого-то совсем и чрезвычайно другого. За того, кто презираем тобою и вовсе не достоин узнавания!.. Проклятые годы. Что делают они с нами!..

Да в силах ли понять я, каково это: быть *ограниченно* всемогущим? Когда умеешь все, но никак, никак, никак не можешь создать аверс без реверса и правое без левого… Когда все, что ты умеешь, и можешь, и создаешь доброго, – отягощено злом?.. В силах ли я понять, что Вселенная слишком велика даже для него, а время все проходит, оно только проходит – и для него, и сквозь него, и мимо него…

Агасфер Лукич разволновался. Я никогда не видел его таким прежде. Мне показалось, что это был восторг самоуничижения. Я слушал его, затаив дыхание, и тут, в самый патетиче-

ский момент, грянул над нами знакомый голос, исполненный знакомого раздраженного презрения:

– На кухне! Из четвертого котла утечка! Опять под хвостами выкусываете?

25. Я не слышал звонка. Впрочем, никакого звонка, наверное, и не было. Я проснулся оттого, что неподалеку бубнили голоса, и голоса эти возвышались. Вначале я не понимал ни слова, я не сразу понял даже, кто это бубнит у нас посреди ночи, – гортанно, яростно, с придыханиями, на совершенно незнакомом языке.

Впрочем, довольно быстро я понял, что один из бубнящих – Агасфер Лукич, а затем, как водится, начал разбирать и о чем они бубнят, сперва общий смысл, затем отдельные слова. Ни общий смысл, ни отдельные слова, ни в особенности все возвышающийся тон мне решительно не понравились, я торопливо натянул штаны, снял со стены тяжелый шестопер и высунулся в коридор.

В коридоре было темно и пусто, вся наша контора спала, но в прихожей горел свет, и я увидел Агасфера Лукича, стоявшего профилем ко мне и, надо думать, лицом к своему собеседнику. Собеседника не было видно за углом – Агасфер Лукич, надо понимать, дальше порога его не пускал.

Надо было понимать также, что Агасфер Лукич прямо из постели: был он в своем бежевом фланелевом белье со штрипками, памятном мне еще по гостинице «Степной», из-под рубашки торчал угол черного шерстяного платка, коим Агасфер Лукич оснащал на ночь поясницу в предчувствии приступающего радикулита, он даже накладное ухо свое не нацепил, оставил в граненом стакане с агар-агаром…

Невидимый мне визитер гортанно выкрикнул что-то насчет того, что демонам зла и падения дана великая власть, но не дано им преграждать путь ищущему милости Милостивого, ибо сказано: рабу не дано сражаться, его дело – доить верблюдиц и подвязывать им вымя[81]. В ответ на это странное сообщение Агасфер Лукич уже совершенно для меня внятно произнес, почти пропел, явно цитируя:

– «Свои пашни обороняйте, ищущему милости давайте убежище, дерзкого прогоняйте». Почему ты не говоришь мне этих слов, Муджжа ибн-Мурара? Или твой нечистый не поворачивается повторять за тем, кого ты предал?

Я вышел в прихожую и встал рядом с ним, держа шестопер на виду. Теперь я видел абитуриента. Это был грузный, я бы сказал даже – жирный, старик в синих шелковых шароварах, спадающих на расшитые золотом крючконосые туфли. Шаровары еле держались у него на бедрах, низко свисал огромный, поросший седым волосом живот с утонувшим пупом, по-женски висели жирные волосатые груди, лоснились округлые потные плечи, а свежевыбритая круглая голова была измазана сажей, и следы сажи были у него по всему телу полосами от пальцев, и лицо его, черное от солнца, тоже было в саже, и белая растрепанная борода была захватана грязными руками, а черные глазки с кровавыми белками бегали из стороны в сторону, как бы не зная, на чем остановиться.

Двери на лестничную площадку не было. Зиял вместо нее огромный треугольный проем, и из этого проема высовывался на линолеум нашей прихожей угол роскошного цветастого ковра (совершенно так же, как давеча вместе с Бальдуром Длинноносым ввалился в прихожую огромный сугроб ноздреватого оттепельного снега). Абитуриент стоял на своем ковре. То ли дальше не пускал его Агасфер Лукич, то ли сам он боялся ступить на гладкий блестящий зеленый линолеум.

– Демон зла и падения Абу-Сумама! – после некоторого молчания возгласил абитуриент. – Снова и снова заклинаю тебя: перед тобой смертный, который нужен Рахману!

– Муджжа ибн-Мурара, – явно пародируя, ответствовал Агасфер Лукич. – Ничтожнейший из смертных, предавший учителя и благодетеля племени своего Масламу Йемамского, снова и снова отвечаю тебе: ты не нужен Рахману!

Муджжа ибн-Мурара непроизвольно облизнул пересохшие губы и, словно бы ожидая подсказки, оглянулся через жирное плечо в темноту треугольного проема.

Мрак там, надо сказать, не был совершенно непроницаемым. Какой-то красноватый огонь тлел там – то ли костер, то ли жаровня, – и колебались на сквозняке огоньки светильников, и отсвечивало что-то металлическим блеском, – вроде бы развешанное по невидимым стенам оружие. И в этом неверном свете чудилось мне некое белесое лицо с черными, исполненными ужаса провалами на месте глаз и рта.

– Я свидетельствую: ты лжешь, Абу-Сумама! – прохрипел толстяк, не получивший из тьмы никакого подкрепления. – Я нужен Рахману! Если он захочет, я залью кровью Египет во имя его!

– Он не захочет, – равнодушно сказал Агасфер Лукич. – И Омар ибн ал-Хаттаб обойдется без тебя. Он заберет Египет мечом Амра. И без особенной крови, между прочим…

– Омар ибн ал-Хаттаб – жалкий пес и выскочка! – взвизгнул толстяк. – Он стал халифом только потому, что Пророк по упущению Рахмана остановил благосклонный взгляд на его худосочной дочери! Клянусь темной ночью, черным волком и горным козлом, кроме этой дочери, нет ничего у Омара ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем!

– Клянусь ночью мрачной и волком смелым[82], – отвечал Агасфер Лукич, – у тебя, Муджжа, нет даже дочери, не говоря уже о сыновьях, ибо Рахман справедлив. Уходи, ты не нужен Рахману.

Толстяк рванул себе бороду обеими руками. Глаза его выкатились.

– Я не прошу службы, – прохрипел он. – Я прошу милосердия… Я не могу вернуться назад. Доподлинно стало мне известно, что не переживу я этой ночи… Пусть Рахман оставит меня у ног своих!

– Нет тебе места у ног Рахмана, Муджжа ибн-Мурара, предатель. Иди к салукам, если они примут тебя, ибо сказано: ближе нас есть у тебя семья – извечно не сытый; пятнистый короткошерстый; и гривастая вонючая[83]… Да только не примут тебя салуки, и даже тариды тебя не примут – слишком ты сделался стар и жирен, чтобы приводить кого-нибудь в трепет…

Я почти ничего не понимал из происходящего. Мне все время казалось, что Агасфер Лукич терзает этого жирного старца из, так сказать, педагогических соображений, что вот он сейчас поучит его уму-разуму, а потом сделает вид, будто смягчился, и все же пропустит его пред светлые очи. Однако довольно скоро я понял, что не пропустит. Ни за что. Никогда.

И как видно, толстый старый Муджжа тоже понял это. Выкаченные глаза его сузились и остановились наконец, чтобы испепелить ненавистью.

– Лишенный стыда и позволивший называть себя именем Абу-Сумамы, – просипел он, тяжело глядя в лицо Агасферу Лукичу. – Я узнал тебя. Я узнал тебя по отрубленному уху, Нахар ибн-Унфува, прозванный Раххалем! Клянусь самумом жарким и верблюдом безумным, я отрублю тебе сейчас второе ухо моим йеменским клинком!

Короткопалая рука его судорожно зашарила у левого бедра, где ничего сейчас не было, кроме шнурка полусвалившихся шаровар. Агасфер Лукич ничуть не испугался.

– Клянусь пустым кувшином и высосанной костью, – сказал он с усмешкой. – Ты никому не сможешь ничего отрубить, Муджжа ибн-Мурара. Здесь тебе не Йемама, смотри, как бы тебе самому не отрубили последнее висящее. Уходи вон, или я прикажу своим ифритам и джиннам вышвырнуть тебя, как шелудивого, забравшегося в шатер.

Кто-то часто задышал у меня над ухом. Я оглянулся. Ифриты и джинны были тут как тут. Вся бригада в полном составе. Тоже, наверное, проснулись и сбежались на крики. Все были

дезабилье, даже Селена Благая. Только Петр Петрович Колпаков счел необходимым натянуть спортивный костюм с наклейкой «Адидас».

Наверное, с точки зрения средневекового араба мы все являли собой зрелище достаточно жуткое и уж, во всяком случае, фантастическое. Однако Муджжа либо был не из трусливых, либо уже на все махнул рукою и пустился во все тяжкие, не думая больше о спасении жизни, а лишь о спасении лица. Он не удостоил нас даже беглого взгляда. Он смотрел только на Агасфера Лукича, все сильнее сутулясь, все шире оттопыривая жирные руки, обильно потея и тяжело дыша.

– Ты, Раххаль, – произнес он, захлебнувшись, – шелудивый бродяга и бездомный пес. Ты смеешь называть меня предателем. Предавший самого пророка Мухаммеда и перекинувшийся к презренному Мусейлиме!..

– А я запомнил времена, когда этого презренного ты называл милостивый Маслама! – вставил Агасфер Лукич, но Муджжа его не слушал.

– Трусливый и бесчестный, приказавший четвертовать мирного посланника! Вспоминаешь ли ты Хабиба ибн-Зейда, которого даже презренный Мусейлима отпустил с миром, не решившись преступить справедливость и обычаи? Посланником Пророка был Хабиб ибн-Зейд, а ты велел схватить его, мирно возвращавшегося, и отрезать ему обе руки и обе ноги, – ты, Раххаль, да превзойдут зубы твои в огне гору Оход!

– Пустое говоришь, – снисходительно сказал Агасфер Лукич, – и в пустом меня обвиняешь, ибо отлично знаешь сам: презренный Хабиб умерщвлял младенцев, отравлял колодцы и осквернял поля. Все получившее благословение Масламы он отравлял, чтобы погибло. Я всего лишь приказал отрубить ноги, носившие негодяя, и руки, рассыпавшие яд.

– Свидетельствую, что ты лжешь! – отчаянно выкрикнул Муджжа и вытер трясущейся ладонью пену, проступившую в уголках рта. – Лучше меня знаешь ты, что именно благословения фальшивого Мусейлимы были ядом для детей, для земли и для воды йемамской! Ты, Раххаль, раб лжепророка, предавший и его, вспомни сражение у Акрабы! Может быть, стыд наконец сожжет тебя? Ты, бросивший свое войско перед самым началом битвы, покинувший лучших из лучших Бену-Ханифа умирать под саблями жестокого Халида! Ты бросил их, и все они легли там, у Акрабы, все до единого, кроме тебя!

– А ты с фальшивыми оковами на умытых руках беспечно смотрел из шатра Халида, как они умирают, твои братья по племени…

– Лжешь ты и лжешь! Железо оков проело мясо мое до костей моих, слезы прожгли кровавые вади на щеках моих, но когда пришло время, я спас от жестокого Халида женщин и детей Бену-Ханифа, я обманул Халида!.. Ты, бросающий лживые обвинения, вспомни лучше, почему ты ускакал от Акрабы, будто гонимый черным самумом! Это похоть гнала тебя! Клянусь черным волком, похоть, похоть и похоть! Ради бабы ты бросил все – своего лжепророка, которому клялся всеми клятвами дружбы и верности; и сына его, Шурхабиля, которого Мусейлима доверил твоей верности и мудрости; и друзей своих, и своих воинов, которые, даже умирая, кричали: «Раххаль! Раххаль с нами!» Ты бросил их всех ради грязной христианской распутницы, которую ты сам же сперва подложил под бессильного козла Мусейлиму, надеясь заполучить таким образом его душу…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.
Из десяти девять не знают отличия тьмы от света, истины от лжи, чести от бесчестья, свободы от рабства. Также не знают и пользы своей. Трифилий, раскольник — источник цитаты не обнаружен.

2.
Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Евангелие от Иоанна — глава 18, стих 10.

3.
Сорок лет спустя — аналогия с заглавиями романов мушкетерского цикла А. Дюма.

4.
«…у гностиков ДЕМИУРГ – творческое начало, производящее материю, отягощенную злом» — процитирована статья Е. Мелетинского «Демиург» из энциклопедии «Мифы народов мира».

5.
Булгаковский Воланд — персонаж романа «Мастер и Маргарита».

6.
Слово «неедяка» придумал и использовал в одном из своих рассказов писатель <…> Илья Варшавский. – рассказ «В космосе», главка «Неедяки».

7.
Торо, «Жизнь в лесу» — роман Г. Торо «Уолден, или Жизнь в лесу».

8.
«We must find a way… to make indifferent and lazy young people sincerely eager and curious – even with chemical stimulants if there is no better way». «Мы обязаны изыскать способ: превращать безразличных и ленивых молодых людей в искренне занитересованных и любознательных – даже с помощью химических стимуляторов, если не найдется лучшего способа» – Цитата из Д. Габора (см. D. Gabor). «Inventing the Future», ch. 9, «The Paradise of the Common Man»: «We must find a way to restore this, and to make indifferent <…>». Penguin Books, 1964, p. 126.

9.
У Шкловского почти об этом сказано: «…если бы некто захотел создать условия для появления на Руси Пушкина, ему вряд ли пришло бы в голову выписывать дедушку из Африки». – В. Шкловский, «Их настоящее»(7, 40), М.—Л.: Кинопечать, 1927. С. 69: «Если бы был заказан какому-нибудь человеководу Пушкин, то вряд ли человековод догадался, что для того, чтобы получить Пушкина, хорошо выписать дедушку из Абиссинии». Сокращенную перепечатку статьи см. в авторском сборнике «За сорок лет. Статьи о кино» (М.: Искусство, 1965. С. 74), «Их настоящее» (3), здесь редакторская правка: «человековед».

10.
«темно и вяло» – цитата из романа А. Пушкина «Евгений Онегин» (6, 23).

11.

Сусанна и сладострастные старцы – см. главу 13 Книги пророка Даниила.

12.
Мегатерий – в романе Г. Уэллса «Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь» (3, 5) мегатерий – исполинский ленивец.

13.
Потерянный и возвращенный рай – заглавия поэм Дж. Мильтона.

14.
Зеленый шум – заглавие стихотворения Н. Некрасова.

15.
«Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и страшный Ча не поймает тебя» – проповедь нуси – переложение учения пастуха из главы «Первый рассказ Аэлиты» романа А. Н. Толстого «Аэлита». Фраза Г. А. – контаминация нескольких цитат из этой главы: «…глаза страшного Ча горят сквозь голубую заросль», «Когда кровожадный ча ищет тебя глазами сквозь заросль – стань тенью, и нос ча не услышит запаха твоей крови», «…стань тенью, и цитли не поймает тебя», «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и кровавый глаз Сына Неба напрасно пронзит твою тень». В различных изданиях «Аэлиты» слова «Тума» и «Ча» печатались то с заглавной, то со строчной буквы.

16.
«Внезапно из-за кустов раздалось странное стаккато, звук, который я до сих пор не слышал, ряд громких, отрывистых О-О-О; первый звук О был подчеркнутый, с ударением и отделен от последующих отчетливой паузой. Звук повторялся вновь и вновь. А через две или три минуты я понял, что было его причиной. Ди Джи спаривался с самкой», Джордж Б. Шаллер «Год под знаком гориллы» – перевод О. Хлудовой.

17.
И бес, посрамлен бе, плакаси горько. – ср.: «Диавол же, видев, посрамися и возрыда». «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе». Также см. церковнославянский текст Евангелия от Матфея (26, 75): «плакася горько».

18.
Пандемониум – название столицы ада в поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай».

19.
есть хлеб свой в поте кислой физиономии своей… – сниженная аллюзия на Книгу Бытия (3, 19): «…в поте лица твоего будешь есть хлеб…».

20.
Тварь дрожащая – выражение восходит к стихам А. Пушкина из цикла «Подражания Корану» (часть I – обработка суры 93 «Утро»): «Мужайся ж, презирай обман,/Стезею правды бодро следуй,/Люби сирот и мой Коран/Дрожащей твари проповедуй…». В широкий оборот вошло после романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание»: «Велит Аллах и повинуйся, “дрожащая тварь”!» (3, 6); «Тварь ли я дрожащая или право имею…» (5, 4).

21.

Умеренность и аккуратность. – цитата из комедии А. Грибоедова «Горе от ума» (3, 3).

22.
Зверь из моря – Откровение Иоанна (13, 1).

23.
«Зверь был подобен барсу: ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть у льва: и дал ему Дракон силу свою, и престол свой, и великую власть…» – Откровение Иоанна (13, 2).

24.
«…И поклонились зверю, говоря: кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца» – Откровение Иоанна (13, 4–5).

25.
И железная саранча Аваддона… и конные ангелы-умертвители… и звезда полынь… – см. Откровение Иоанна (9, 3–11, 16–19; 8, 10–11).

26.
Сейте разумное, доброе, вечное. – строка стихотворения Н. Некрасова «Сеятелям».

27.
Все они хирурги или костоправы. Нет из них ни одного терапевта. – перифраз из главы 34 части 3 романа А. Дюма «Виконт де Бражелон»: «– Все эти люди шпионы или же сбиры; ни один из них не годится в генералы <…>. Но не с помощью разрушения, войны, насилия следует управлять обществом Иисуса, нет – путем таинственного влияния, которое дает человеку моральное превосходство». Перевод под редакцией И. Гликмана.

28.
«Не мир принес я вам, но меч» – Евангелие от Матфея (10, 34).

29.
«Рассвет на Москве-реке» – симфоническое вступление к первому действию из оперы М. Мусоргского «Хованщина».

30.
«Боже, царя храни» – российский гимн (1833–1917 г.г.), музыка А. Львова, слова В. Жуковского.

31.
…женщины плакали, сами стены блевали, и сотня негодяев ревела: «Бей! Бей!»… – перифраз из романа А. Дюма «Виконт де Бражелон» (2, 4): «Женщины плакали, сами стены смеялись, и пятьсот негодяев кричали: «Бей, бей!». Перевод под редакцией Н. Таманцева.

32.
«Раздави гадину…» – фразой «Раздави гадину» (под которой подразумевался любой вид религиозного фанатизма) Вольтер обычно заканчивал письма к друзьям.

33.

«Не убий…» – Исход (20, 13).

34.
«Если враг не сдается…» – заглавие статьи М. Горького: «Если враг не сдается – его уничтожают».

35.
«Человек человеку – друг…» – «Человек человеку – друг, товарищ и брат». Программа КПСС (1961 г.), 2, 5, 1 в. «Моральный кодекс строителя коммунизма».

36.
Всякая истинная идея должна уметь защитить себя. Иначе грош ей цена. – восходит к положению из доклада В. Ленина на объединенном заседании ВЦИК… 22 октября 1918 г.: «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться…».

37.
«Незабываемый 1919-й» – реж. М. Чиаурели.

38.
Мне он [мэр. – В.К.] сказал: «Я тебя помню, ты Вася Козлов» – ср. параллель в романе Г. Грина «Наш человек в Гаване» (4, 2): «[Хассельбахер:] – Как-то раз со мной разговаривал кайзер. [Уормолд:] – Что он сказал? – Он сказал: «Я вас помню. Вы – капитан Мюллер». Перевод Е. Голышевой и Б. Изакова.

39.
…человечность должна быть с кулаками… – С. Куняев, «Добро должно быть с кулаками». Фраза дана М. Светловым студентам Литературного института как тема для упражнения.

40.
«Шли головотяпы домой и воздыхали. Один же из них, взяв гусли, запел… <…> «Не шуми, мати, зеленая дубравушка…» – М. Салтыков-Щедрин, «История одного города», глава «О корени происхождения глуповцев» («<…> зелена дубровушка!»).

41.
«Это, душа моя, все философия, – говорит он (от себя говорит, ни в коем случае не цитирует!) …» – по словам Б. Стругацкого, более полная цитата такова: «Однако, все это, господа, философия. А не выпить ли нам водки?». Источник не обнаружен.

42.
Я ищу Человека с большой буквы. – контаминация двух выражений: слов Диогена Синопского «Я ищу человека» (описано у Диогена Лаэртского, «Жизнь, учение и мнения знаменитых философов», 4) и цитаты из статьи М. Горького «В. И. Ленин»: «Человек с большой буквы».

43.
Исаев-Штирлиц – персонаж произведений Ю. Семенова и снятых по ним фильмов.

44.
«Милость к падшим призывал» – цитата из стихотворения А. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

45.
«Как посмотришь с холодным вниманьем вокруг…» – цитата из стихотворения М. Лермонтова «И скучно и грустно»: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – / Такая пустая и глупая шутка!»

46.
…порождать чудовищ. – аллюзия на название офорта Ф. Гойи «Сон разума рождает чудовищ».

47.
«И затрясся вурдалак проклятый…» – цитата из стихотворения А. Пушкина «Марко Якубович» («Песни западных славян», 8).

48.
Ни шагу назад – Приказ Народного комиссара обороны И. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г.

49.
Флоры и фауны приходят и уходят, а Г. А. должен пребывать <…> вовеки. – ср. стих из Книги Екклезиаста (1, 4): «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки». Также – перефразировка И. Сталина: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское – остается». Приказ Народного комиссара обороны от 7 ноября 1942 г. Известны и более ранние аналоги этой формулы у И. Сталина.

50.
«Потому и верую я, что это бессмысленно», Квинт Септимий Тертуллиан, «Верую, ибо абсурдно» – Credo, quia absurdum – парафраза слов Тертуллиана: «Credible est, quia ineptum est» («De corpore Christi» или «De carne Christi», «О плоти Христовой», 5, 4).

51.
Врачу, исцелися сам. – церковнославянский текст Евангелия от Луки (4, 23).

52.
Конь Бледный – Откровение Иоанна (6, 8).

53.
Иов на гноище – см. церковнославянский текст Книги Иова (2, 8).

54.
Учение Христа о том, что надлежит любить врага своего и подставлять ему все новую и новую щеку… – Евангелие от Матфея (5, 44, 39): «…любите врагов ваших…», «…не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую…».

55.
…унижаемых и оскорбляемых… – аллюзия на заглавие романа Ф. Достоевского «Униженные и оскорбленные».

56.
«Саду – цвесть!» – цитата из стихотворения В. Маяковского «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка».

57.
Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие. – ключевая фраза анекдота.

58.
У Лема есть рассказ, как изобрели снадобье, от которого совокупляющийся человек терпит непереносимые мучения. Идея изобретателя: половой акт должен иметь исключительно функциональное значение. – С. Лем, «Звездные дневники», Путешествие двадцать восьмое.

59.
Дустом их, дустом! – ключевая фраза анекдота. Один из его вариантов: «Брежнев рассказывает Рейгану историю СССР: гражданская война, коллективизация, индустриализация, ВОВ, кукуруза и т. д. Рейган, внимательно выслушав, спрашивает: «А дустом вы их не пробовали?»

60.
«не виноватая я!» – фраза из к/ф «Бриллиантовая рука», реж. Л. Гайдай. Фактически в фильме цитируется восклицание Катюши Масловой из романа Л. Толстого «Воскресение» (1, 24): «– Не виновата я, не виновата!»

61.
Ты комсомолец? Да! Ужель не поумнеешь никогда? – ироническая перефразировка строк «Комсомольской песни» (слова М. Светлова, музыка Ю. Стржелинского): «…ты комсомолец? Да!/Давай не расставаться никогда!».

62.
…времен очаковских и покоренья Крыма… – цитата из комедии А. Грибоедова «Горя от ума» (2, 5): «…Времен Очаковских <…>».

63.
«Поздно, поздно! – кричал Вольф <…>. Пена и кровь стекали по его подбородку». – цитата из главы 74 романа А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» («<…> и кровь текли по его подбородку»).

64.
…счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые… – неточная цитата из стихотворения Ф. Тютчева «Цицерон» («Блажен, кто <…> мир/В его минуты роковые!»).

65.
Князь Игорь – Игорь Святославич, новгород-северский князь, походу которого на половцев посвящено «Слово о полку Игореве», также – главное действующее лицо одноименной оперы А. Бородина.

66.
Невозможность объять необъятное – Козьма Прутков, «Мысли и афоризмы»: «Никто не обнимет необъятного».

67.
«ди эрсте колонне марширт…» – цитата из романа Л. Толстого «Война и мир» (1, 3, 12; 4, 2, 4 и т. д.).

68.
…прав был Эпиктет, сказавши: «Человек – душонка, обремененная трупом». – Марк Аврелий, «Наедине с собой. Размышления», 4, 41: «“Человек – это душонка, обремененная трупом”, как говорит Эпиктет» (перевод С. Роговина). Источник – «Беседы Эпиктета (записанные Флавием Аррианом)».

69.
Не к народу ты должен говорить <…>, – но к спутникам. Многих и многих отманить от стада – вот для чего пришел ты <…> Ницше. – «Так говорил Заратустра», ч. 1, Предисловие Заратустры, гл. 9. Перевод В. Изразцова. Цитируется издание: Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра», СПб.: издание Акц. О-ва Типографского Дела в СПБ, 7 рота, № 26, 1913, с. 38: «…не к народу должен говорить Заратустра, но к спутникам! <…> Многих и многих отманить от стада – для того пришел я».

70.
Дворянское гнездо – заглавие романа И. Тургенева.

71.
Аллегорические телодвижения – выражение М. Салтыкова-Щедрина, «Современная идиллия», 8 («Устав о благопристойном обывателей в своей жизни поведении, § 1 «О благопристойном поведении на улицах и площадях», ст. 11: «<…> Буде же встретится дама незнакомая, то таковой поклона не отдавать, а продолжать путь в молчании, не дозволяя себе никаких аллегорических телодвижений»).

72.
«Вырастешь, Ига, узнаешь» – перифраз строки-рефрена из поэмы Н. Некрасова «Дедушка»: «Вырастешь, Саша, узнаешь».

73.
«Во имя отца и сына» – роман И. Шевцова.

74.
Если враг задирает, его уничтожают. – перифраз заглавия статьи М. Горького «Если враг не сдается – его уничтожают».

75.
Мне отмщенье, и только мне… – «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь». Послание к Римлянам (12, 19); также: Второзаконие (32, 35).

76.
…полмира насилья ляжет в дымящихся развалинах. – аллюзия на слова «Интернационала»: «Весь мир насилья мы разрушим…». Музыка П. Дегейтера, слова Э. Потье, рус. текст А. Коца.

77.
…черным-черно, как в известном письме известного писателя известному историку. – подразумевается письмо В. Астафьева Н. Эйдельману от 14 сентября 1986 г. Переписка опубликована в журнале «Даугава» (Рига). 1990. № 6. С. 62–67.

78.
…яд высох, как говаривал сэр Редьярд Киплинг. – «Маугли. Из Книги Джунглей», глава «Королевский анк», перевод С. Займовского («…яд <…> высох!»).

79.
Фаустовские лемуры – персонажи трагедии И. Гете «Фауст» (2, 5, сц. «Большой двор перед дворцом»).

80.
«Всех утопить!» Фауст. Пушкин. – неточная цитата из «Сцены из Фауста» А. Пушкина: «Всё утопить».

81.
…рабу не дано сражаться, его дело – доить верблюдиц и подвязывать им вымя. – высказывание арабского поэта Антары, приведенное в издании: Е. Беляев, «Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье» (М.: Наука, 1966. С. 74). Перевод Е. Беляева: «Раб не умеет сражаться; его дело – доить верблюдиц и подвязывать им вымя».

82.
«Свои пашни обороняйте, ищущему милости давайте убежище, дерзкого прогоняйте», Клянусь темной ночью, черным волком и горным козлом… <…> – Клянусь ночью мрачной и волком смелым… – цитаты из раздела 4 статьи В. Бартольда «Мусейлима», опубликованной, например, в томе 6 Сочинений В. Бартольда (М.: Наука, 1966. С. 549–574). Содержание статьи широко использовано в «арабских» главах романа «Отягощенные злом…».

83.
…ближе нас есть у тебя семья – извечно несытый; пятнистый короткошерстый; и гривастая вонючая… – измененная строка 5 «Песни пустыни» арабского поэта аш-Шанфары, приведенной в статье И. Крачковского «Аш-Шанфара. Песнь пустыни», опубликованной, например, в томе 2 Избранных сочинений И. Крачковского (М.—Л.: Издательство АН СССР, 1956. С. 240), а также в монографии Е. Беляева (см. комментарий к с. 159) на с. 75. Перевод И. Крачковского: «У меня ближе вас есть семья: неутомимый волк, пятнистый короткошерстый и гривастая вонючая».